ВЛ. КРЫМОВ

ХОРОШО ЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕТРОПОЛИС


PETROPOLIS

ВЛ. КРЫМОВ

ЗА МИЛЛИОНАМИ

ТРИЛОГИЯ

СИДОРОВО УЧЕНЬЕ
ХОРОШО ЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ!
ДЬЯВОЛЕНОК ПОД СТОЛОМ

ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

ВЛ. КРЫМОВ

ХОРОШО ЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ!

ТОМ ВТОРОЙ ТРИЛОГИИ

ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

OCR Давид Титиевский, июль 2020 г., Хайфа

I.

«Открытие нового блюда дает человечеству больше, чем открытие новой звезды».

Брилья-Саварэн.

«В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ».

Аристархов и Грабельщиков обедали у «Медведя».

Шла балканская война, Болгария и Сербия побеждали, и оркестр в пятый или шестой раз играл «Шуми Марица»... Зала апплодировала. Все были горды победами. Турция — враг, Болгария — друг. Так ясно и просто: надо радоваться...

Арсений Аристархов мало интересовался политикой, войну ненавидел, но тут и он в общем психозе апплодировал и тоже чему-то радовался.

Опять оркестр повторял:

«Шуми, Марица,
Окровавленна,
Плаче вдовица,
Люто ранѐна...»

Обильный, вкусный обед располагал к хорошему настроению. Публика подпевала, — кто погромче, кто мурлыча про себя. Были довольны и веселы.

«Шуми Марица, ок-ррова-влен-на» — смаковали за соседним столом с таким вкусом, будто это очень веселенькое слово, пикантное.

* * *

Серьезные люди уверяли, что дела можно делать в России только в ресторане. Каждый оправдывался, что это хотят другие. И все шли в самое занятое время в ресторан и там ели и пили часами, говоря о деле минутами, а то и совсем о делах не говоря...

«Сегодня уже не удастся поговорить», — вспоминали часа в четыре, — «завтра встретимся у Кюба...»

И опять шло сначала.

Директора крупного банка, державшего в руках сотню предприятий, никак нельзя было поймать. Когда ни придти, курьер заявлял:

«Уехали по делам... Уехали на заседание...»

И дела, и заседания, — все были там-же. Еда, вино, женщины. Одна постоянная женщина и серия новых, случайных, на час, на несколько дней. И сегодня, и завтра, и вчера — одинаково.

Завтракать не спешили. У Кюба, у «Медведя», у Донона, — проводили полжизни. Один считал, что платит за обеды третью сотню тысяч. За это ему была теперь скидка с завтрака: он этим гордился. Всем стоило рубль двадцать — ему рубль...

* * *

Арсения давно тянуло в газетный мир.

«Там узел мозговой энергии... Там талантливые и остроумные люди... Я интересуюсь наукой, искусством тратя на это деловое время, а там, занимаясь тем же, я буду делать самое дело. Быть в центре осведомленности... Дело журналиста и заключается в том, чтобы всем интересоваться, все знать... Что может быть интереснее такой работы!? — Там связи...»

Сейчас представлялся случай войти прочнее в «Русскую Газету». Несколько последних статей Аристархова обратили внимание издателя, и Грабельщиков сообщил, что он, наконец, нашел путь провести его в состав постоянных сотрудников. «Хотя и без жалованья».

Было неясно что значит «состав постоянных сотрудников», раз без жалованья, но Арсений все-таки ухватился за предложение Грабельщикова.

Никакого пути тот на деле и не искал, а, услышавши отзывы об Аристархове, решил, что это нетрудно устроить и что-нибудь выкроить для себя.

Роль Грабельщикова в «Русской Газете» была особенная. Он почти ничего не писал, не был ни редактором, ни управляющим, но у всех было впечатление, что от него все зависит, что без него ничего не сделаешь...

В фамилии есть что-то роковое: китайцы уверяют, что по иероглифам имени можно узнавать судьбу человека. По Петербургу долго ходили пространные стихи, составленные чиновником канцелярии по приему прошений на высочайшее имя. Рифмы состояли из неприличных фамилий, носители коих обращались к царю с просьбой изменить их. Стихи читал и царь и очень остался доволен, что у него есть подданные с такими пакостными фамилиями. Остряк-помещик, городничий, титулярный советник, просто урядник сочинили их в свое время и потом долго посмеивались.

* * *

«Кому это вы кланялись?» — спросил Арсений.

«Каторжники...» — спокойно пояснил Грабельщиков.

«То-есть, как это — каторжники!?»

«Так, просто каторжники! Только ходят на свободе» — и он спокойно и радостно кланялся следующим каторжникам, входившим в залу.

«А вот шпион!» — указал Грабельщиков на высокого красивого мужчину с черной бородой. С ним он тоже мило раскланялся.

«И все знают, что он шпион?!.. чей шпион?»

«Международный шпион... Продает каждого каждому, смотря по тому, кто сейчас больше платит — очень уважаемый человек... Знаменит тем, что одна держава поручила ему достать планы крепостей другой. Он обратился к этой другой и предложил продать ее фальшивые планы. Ему их заготовили, уплатили хорошую сумму, и он продал — но продал настоящие!.. Обе считают его весьма ценным человеком...»

* * *

Ели долго, священнодействуя.

«Еще не оценено достаточно значение вкусовых ощущений. Это та же музыка, так же сильно влияет на психику... Но тут есть какая-то неясность, противоречие, невязка: великое и прекрасное создают как раз те, кто ест менее вкусно...» — говорил Арсений.

«Поглощающие по семи блюд создают прекрасные деньги», — покровительственно ответил Грабельщиков. — «Вы все еще о великом и прекрасном задумываетесь... «Веревка вервие простое...» Так вот что!.. Я сейчас могу устроить вас. Это не так просто: не думайте, что для этого довольно быть талантливым журналистом... Когда у нас появляется новый человек, первая забота каждого настоящего петербуржца стереть его в порошок. Чего он тянется к чужому пирогу!?.. Начинаем его травить и топить всеми способами. Но если после всех сделанных ему гадостей и подвохов он все-таки продолжает еще плавать и даже идет вверх, мы с ним, наконец, примиряемся. Оставляем его более или менее в покое... Только более или менее — при случае не пропустим подставить ногу... Но все-таки это уже не свой брат Афанасий, — пусть кушает свой кусочек пирожка... В газете еще острее. Борьба за место. Оно и понятно: если в столбце двести строк и но-

мер в тридцать столбцов, и вам надо отдать столбец, то кого-то отложат, у кого-то вырвали кусочек пирожка... Если журналист познакомится с директором банка и тот ему запишет сотню акций, то ясно, что вырвали эти акции у другого журналиста...»

Грабельщиков поклонился еще одному «каторжнику».

«Я вас устрою. Но, разумеется, не даром. Надеюсь, вы этого и не думаете?» — продолжал он, на этот раз улыбаясь, но не кланяясь мимо проходившей даме. Та ответила только улыбкой.

«Понятно, знаете ее?.. Настя Чертёнок... Большие деньги заработала на бирже. Половина биржевиков ее приятели... Ловкая девченка...»

Арсений слышал о Насте. Когда-то она ездила в «Москву» за пять рублей, потом в Аптекарский за двадцать пять. Теперь у нее был шикарный особняк на Песочной, и уверяли, что через нее можно устраивать большие дела.

* * *

«Я завтра познакомлю вас с издателем и редакторами. Все будет устроено... Но вы даете мне честное слово, что никогда не пойдете против меня. Я хочу иметь в вас своего человека... Все, что я требую за свои хлопоты и влияние... Разумеется», — прибавил он после маленькой паузы, — «мне нужна некоторая гарантия, — я вас еще мало знаю. Я возьму с вас вексель на пять тысяч на год. Если через год мы останемся друзьями, я честным словом обязуюсь вернуть вам вексель... Вот, я приготовил...»

Он вынул из кармана вексельный бланк со вписанным уже текстом, а из другого перо. Арсений подумал несколько секунд:

«Платить придется во всяком случае... Не хотите ли лучше половину наличными и без честного слова?..» — спросил он.

«Хорошо, три наличными», — быстро согласился Грабельщиков. Его позвали к телефону.

«На ловца и зверь бежит...» — сказал он, вернувшись. — «Зовут в редакцию. Деньги понадобились! Сейчас десять. К одиннадцати будут редакторы, и, главное, сам Кащеев. Поедемте, я вас познакомлю. Делать, так делать...»

По счету уплатил Арсений.

Грабельщиков показал на окно кабинета, когда проходили к выходу.

«Вот из этого окна выпустили голую француженку. Больше такой штучки не увидите... Демократизируемся... Не так уже весело стало... Скорее надо кушать свою порцию пирога, а то будет поздно... Не забудьте, что в большой газете вы за каменной стеной — другому не пройдет, а вам как с гуся вода. Вроде великого князя. Но это и обязывает... Сам кушаешь, дай и другому. Особенно на счет правды будьте сдержанны. Если писать о каждом правду, девяносто девять из ста пойдут в каторгу, и некому будет давать объявления... Если бы газетам нужна была правда, журнализм утратил бы всякий смысл...»

Всю дорогу в редакцию Грабельщиков сыпал парадоксами.

II.

ПРИНЯТИЕ В ОРДЕН.

В редакции у Грабельщикова был свой кабинет.

Он позвонил, велел принести из типографии оттиск какой-то статьи за подписью «Обыватель». Потом пошли по редакции. Еще было пусто. Только в хроникерской звонили телефоны и двое репортеров уже работали. Два других играли в шахматы и пили красное вино.

Один обзванивал полицейские участки и с кем-то там дружески беседовал; другой, видимо, говорил с каким-то чиновником министерства путей сообщения.

«Так передайте его превосходительству, чтобы он написал опровержение, и мы его напечатаем...»

. . . .

«Да, может быть...»

. . . .

«Редакция не может гарантировать, что она вполне согласится с его доводами...»

. . . .

«Как ему угодно — тогда я буду писать дальше, что знаю из других источников...»

. . . .

«Извращение фактов?.. Вы напрасно горячитесь, — это только разница мнений. Наконец, ведь там напечатано «по слухам»...

. . . .

«Хорошо, завтра в четыре...»

* * *

«С кем это ты?» — спросил игравший в шахматы.

«Зачесалась каналья... Третьего дня пришел к нему в департамент, послал карточку, а он извиняется, что едет к министру, некогда. Я тебе покажу некогда».

«Это о закупках угля?»

«Да».

«Учить надо... Правильно!»

«У него нелады с министром из-за этой закупки. Сегодня здорово попало... Я на это и расчитывал... Сергей Иванович посоветовал. «Наш генерал», говорит, «терпеть не может журналистов, чего они суются не в свое дело...» Эти старые перечницы уверены, что газеты существуют только для сообщений, что тайный советник такой-то изволил сегодня прибыть из Экс-ле-Бэн, а такой то изволил отбыть в Карлсбад...»

Грабельщиков познакомил:

«Наш сотрудник, Аристархов».

«А, Аристархов! Вот вы какой... никогда вас не видал», — сказал один из шахматистов. Другой что-то пробурчал и покосился. Арсений писал на те же темы, и уже не одна его рукопись пропадала с секретарского стола, благодаря чьему-то любезному участию. Арсений терпеливо посылал следующую и следующую. Почему-то одна печаталась, а другие, иногда и более интересные, не появлялись.

* * *

Зашли в другую комнату.

«Это — Захаров, наш передовик», — указал Грабельщиков, — «самое глупое занятие: статьи набираются широким корпусом, а ни одна собака не знает фамилии Захаров».

Маленький, обрюзглый, мало реагирующий на окружающее, даже, казалось, тупой — так он выглядел. Арсений смотрел на него с особым интересом.

«Этот человек направляет русскую политику».

И сейчас Захаров диктовал машинистке передовицу на завтра. Прямо начисто, без всякой отделки. Перед ним лежал свежий номер «Фигаро» и ворох других газет, которые он, видимо, никогда не просматривал: угол комнаты был тоже завален газетами в неразорванных бандеролях. Статья Захарова пережевывала то, что было в «Фигаро». Речь шла о Персидском заливе и дороге на Багдад...

«Как мы узнали из самого авторитетного источника...» — диктовал Захаров.

«Почему о Персидском заливе?! Кому это сейчас интересно?» — подумал Арсений, и, как бы в ответ на его мысль, Захаров сказал машинистке, заканчивая статью:

«О Корейско-Манчжурском вопросе пусть сейчас же набирают. А эту потом, в запас... Дайте, я помечу».

«Да наплюйте вы на Корею с Манчжурией и на Персидский залив вместе», — смеясь, вставил Грабельщиков. — «Охота людям ерундой заниматься. Написали бы лучше о спекуляции Айзенштейна или Курина — весь Петербург об этом говорит. А то несете околесицу о Персидском заливе. На кой чорт нам Персидский залив?..»

Курьер принес оттиск статьи. Грабельщиков посмотрел, поморщился. Потом улыбнулся, подмигнул Арсению и положил в карман. Сверху была пометка метранпажа — «разбр», «разобрать» и знак вопроса. Это значило, что статья не пойдет, и по приказу редактора назначена в разбор.

«Завтра пойдет», — как бы про себя сказал Грабельщиков и показал пометку Арсению.

«Как же это?!»

«Увидите. Завтра статья будет в номере... Скажите метранпажу, чтобы подождали разбирать» — обратился он к ожидавшему курьеру: тот, видимо, понимал в чем дело...

* *
*

Приехал Кащеев. Грабельщиков сейчас же пошел к нему.

Кащеев был царь и бог «Русской Газеты», единоличный ее хозяин. Газета давала большой доход, не смотря на неописуемую безхозяйственность. Все знали, что лучше ничего не говорить о безпорядках и воровстве: виноват всегда будет тот, кто сказал. Кащеев не терпел тех, кто приносил ему неприятное.

«Не человек, а мозоль», — говорил он и старался больше не встречаться. Если это был служащий, дни его были сочтены.

Кто-то давно уже пустил, что «Русская Газета — микрокосмос России».

Расходы семьи Кащеева и семейных фавориток росли всетаки быстрее, чем доходы. В последнее время учеты в банках все увеличивались.

Семья Кащеева была сложная. Целый ряд людей был связан с нею страннейшими узами. Жена его, уже пожилая, рыхлая женщина, жила с братом своей невестки. Один из сыновей женился на шансонетной певице, бросил ее и теперь жил с женой другого сына. А дети шансонетки, прижитые ею от кого-то, воспитывались в семье Кащеева... Сейчас шел разговор о том, что еще скоро ожидается ребенок, — она привозила детей, сдавала их, как в воспитательный дом и больше ими уже не интересовалась.

Кащеев говорил:

«Не женщина, а морская свинка. И где это видано, чтобы у этих фик-фок-на-один-бок дети водились? Феномен!»

Дочь Кащеева была замужем, но бросила мужа и жила с жокеем, и его дети от двух жен воспитывались тоже на счет Кащеева...

* *
*

Кащеев курил свою постоянную большую влажную гаванну и просматривал личную корреспонденцию, когда вошел Грабельщиков. Кабинет был уютный, но едкий от дыма. Сигара все время тухла, и ковер около кресла Кащеева был усеян спичками.

«Завтра платеж, восемьдесят тысяч в Русском Банке».

«Я знаю» — ответил Грабельщиков.

«В кассе шестнадцать тысяч».

«Я знаю».

«Так вот, как-же?»

Кащеев говорил сердито, но боялся ответа Грабельщикова.

«Мне нужно еще пятнадцать. Срочный взнос за биарицкую виллу сорок тысяч франков... Платеж за бумагу на-днях...»

«Я знаю», — опять сказал Грабельщиков. Спокойно, не добавляя больше ни слова.

Кто-то просил Кащеева к телефону. Кащеев сердито бросил курьеру:

«К чорту!.. Меня нет... И министра к чорту — меня нет, я сказал... Вы все устраиваете да улаживаете, а оно только разлаживается».

Кащеев встал и нервно заходил по кабинету. Перед этим он ткнул в пепельницу сигарой, сломал ее, бросил, подошел к сигарному шкафу из белых изразцов, взял другую и опять закурил. Его губы все время двигались, точно он жевал что-то. Седая борода подпрыгивала...

Подошел к большому зеркальному окну, приоткрыл портьеру и стал смотреть в темноту улицы. Ноги были широко раставлены носками внутрь, точно он готовился играть в футбол. Это была особенность походки Кащеева. Он никогда не играл футбол, вообще не занимался спортом, но эту привычку выработал в себе намеренно, считая, что мужчине именно так подобает ставить ноги. «Я не балетчик», — говорил он.

* * *

«Неужели нельзя без этих банков?.. Мои газеты дают громадный доход, а мы должны все обращаться к этим мерзавцам. Когда это кончится?..»

«Вы, Сергей Степанович, подсчитывали общую сумму, какую взяли за этот год?»

«Ничего не подсчитывал и подсчитывать не желаю».

«А вы подсчитайте... Вот уже двести восемьдесят тысяч».

«Двести восемьдесят тысяч!.. Ерунда. Воруют».

«Что воруют — это кроме того. А двести восемьдесят тысяч выдано по вашим личным роспискам. Елене Васильевне сорок две тысячи, Мэри Николаевне — тридцать... За Николая Сергеевича уплочено двадцать шесть тысяч по векселю... Тридцать восемь тысяч...»

Старика передернуло.

«Нечего считать, крадут все!»

Он опять стал ходить по кабинету, жуя конец сигары и выплевывая на ковер разжеванный табак.

* * *

«С вами трудно говорить, Сергей Степанович». Грабельщиков подошел к изразцовому шкафу и тоже выбрал себе сигару. «Сколько раз я вам уже советовал образовать акционерное общество, продать часть акций, остаться по-прежнему полным хозяином и раз навсегда выйти из всяких денежных затруднений...»

Давая совет, Грабельщиков старался не об устранении денежных затруднений Кащеева — это совсем было не в его расчетах. Ему было интересно войти в дело, как одному из директоров, и еще плотнее держать в руках Кащеева.

«К чорту!» — замахал рукой Кащеев. — «Знаю ваши акционерные общества... Продай одну акцию, так через полгода Розенштейн будет мои статьи править... Это оставьте».

«Значит, опять надо хлопотать о переучете и новом учете», — спокойно сказал Грабельщиков. — «Не знаю, пройдет-ли на этот раз. Вы отказались напечатать мою статью о банках на прошлой неделе».

«Что?!.. Эту статью в защиту банковской спекуляции?! Да это гибель газеты, никогда этого не сделаю... У нас казенные объявления отберут...»

«Вот прочтите эту» — и Грабельщиков вынул из кармана оттиск, на котором уже была стерта карандашная пометка — «разобрать».

* * *

Кащеев пробежал статью.

«Это шантаж... Мы что-то знаем, но до поры молчим... Это такая же гадость».

«Если эта статья не пойдет, я не могу идти к ним,

— меня вежливо выставят. Вы полагаете, что банки будут нам давать по филькиным грамотам сотни тысяч за то только, что вы Кащеев.. Их не трогают, значит не могут трогать... Надо протереть им глаза. Не трогать, но намекнуть — иначе перестанут разговаривать. Начхать им на наше политическое влияние... У этих идиотов составилось мнение, что «Русская Газета» о них все равно не будет писать и ладить с ней не к чему. Эта банда мошенников грабит народ, а мы о них никогда ни слова... Могут думать наоборот, что молчание куплено».

«Не пишем потому, что не хотим пачкаться», — сердито буркнул Кащеев. «Мерзость...»

Он еще раз пробежал статью, вычеркнул две фразы, и написал сверху синим карандашом, крупно и размашисто, но неразборчиво:

«Сег., после передов.»

«Да, забыл... Сейчас в редакции Аристархов, вы о нем как-то спрашивали. Можно его показать вам?»

«Покажите».

* * *

Идя с Арсением к Кащееву, Грабельщиков наставлял:

«Старик любит умную лесть и терпеть не может царевококшайской правды. Открытия души... Не вздумайте быть оригинальным».

Арсений напомнил Кащееву одну из его удачнейших фраз в какой то недавней статье. Прямо с этого начал.

Кащееву понравилось.

«Да, фраза вышла удачная... Но не гоняйтесь за мудреными словами и не притягивайте за хвост образов.... У вас в последнем фельетоне это проглядывает».

«Разве вы все помните, что мельком читали?»

«Не все, а то что надо. Чем в мозгу больше фарша, тем вкуснее жизнь...»

«Однако у вас все образы», — перебил Арсений.

«Этот старый и неудачный... вкусная жизнь — не-

хорошо. За всю жизнь можно пять-шесть настоящих выдумать. Лучше совсем без образов, чем один коленом втолкнутый, когда читатель чувствует сразу эту незаконнорожденность. Искусство в том, чтобы не было искусственности... «Убогая роскошь наряда» — такие алмазы даже в богатом мозгу весьма редки, одного на книгу довольно... Теперешние стали убогость мысли прикрывать словесными выкрутасами... Курите?»

Кащеев предложил сигару. Грабельщиков за спиной подмигнул Арсению — хороший признак.

«Я вас читаю... Сжато и ярко... Другой из вашей фразы сделал бы фельетон. Не гонитесь за строками. Не потеряйте яркости... Талантливое как твердый клубок — пусть читатель сам разматывает и думает, что он очень умный... Читатель любит быть умным».

«А он действительно умный и талантливый», — подумал Арсений. — «Всегда есть в человеке недюжинное, если он забрался высоко... Случайно не залезешь».

Ему захотелось сказать это старику. Но удержался.

О гонораре ничего не было сказано. Когда вышли из кабинета, Грабельщиков резюмировал:

«Абгемахт... Кащеев завтра будет в хорошем настроении, я ему привезу деньгу и все оформим. Будете впредь получать двадцать копеек за строчку».

* * *

Зашли опять к Захарову.

На столе лежало несколько нераспечатанных объемистых телеграмм. Не обращая на них внимания, он читал какую то книгу.

Арсений бывал в американских редакциях: там телеграммы списывались сотрудником прямо с телеграфной ленты и кусочками бросались в пневматическую трубу. Труба несла их в наборную. Не пропадало ни минуты. Тут пропадали часы.

Наконец, Захаров обратил внимание на телеграм-

мы, взял одну, разорвал, зачеркнул «Харбин» и написал — «Токио, от собств. кор.».

«Газетная кухня» — заметил Грабельщиков. — «У нас Токио и Пекин в Харбине, и это очень благородно: у других и Пекин, и Нью-Иорк, и Мадрид — все на Песках».

Арсений похвастался, что знает американские редакции:

«А вы не торопитесь с телеграммами. В Америке, там прямо с аппарата идет в набор...»

«Быстрота хороша блох ловить... Мы в России и так слишком быстро поехали. Как бы головы не сломать», — ответил Захаров.

Арсений взял со стола бумажку и написал:

> «Логичное, самое умное — не годится, мешают предрассудки, традиции, заблуждения... Для успеха нужна средняя арифметическая — по ней идут вожаки толпы...»

«Расписываете завтрашний день?» — спросил с ехидцей Грабельщиков.

«Нет... тему для статьи».

«А я думал, что и вы тоже по расписанию... Как зубные врачи и арапы. Будете завтра на скэтинг-ринге?.. «Что завтра?.. среда?» Вынимает книжку и долго смотрит: «В 11.30... там; в 12... там; в 12.30... там; в 2... там; в 2.30 — нет, не занят, к счастью — буду...» А у самого всех дел, играть арапа в клубе по вечерам...»

* *
*

Вошел еще сотрудник.

«Грабельщиков, здраствуй... Тебя давно не видно».

«Трудно меня видеть, когда ты, Петечка, занимаешься всем, чем угодно, только не редакционными делами... Тебя, говорят, выбирают президентом Палестинской республики...»

«Я ничего общего с жидами не имею» — спокойно и ласково ответил тот. Петечка был крещеный еврей и поэтому говорил всегда «жиды».

Здесь говорили колко, иронично, злобно, и надо было уметь парировать удары двойной злобностью. Петечка никогда не отвечал злобно и едко — всегда мягко и вкрадчиво. Он больше делал, чем говорил, и с ним не все рисковали разговаривать так, как Грабельщиков. Был случай, когда журналист из другой газеты наговорил Петечке обидного: назавтра у журналиста был обыск, и его выслали из Петербурга.

«Правда что ты купил Рено?» — спросил Петечка.

«Правда».

«Скажи, Грабельщиков, откуда у тебя деньги? Ты ничего не делаешь, а живешь, как владелец алмазных розсыпей в Кимберлее».

«Молод ты еще, Петечка...»

Грабельщиков похлопал его по плечу.

«Подростешь, — поумнеешь, тогда и у тебя деньги будут... Про тебя говорят, что ты на ходу подмётки срезаешь, а ты желторотый, еще перышки не выросли... Слишком суетишься, а надо, тихонечко, спокойненько. Мелким шантажем не проживешь. Нет, деньги не так делаются в наше время... Эдиссон говорит, что в изобретении девяносто девять сотых потения и одна сотая вдохновения, а я считаю, что все во вдохновении. Потеть не надо. Те, что потеют, получают гроши...» — продолжал он, просматривая телеграммы и пряча одну из них в карман.

«У Кузьмы Пруткова сказано: «как вода попадает внутрь арбуза, так попадают деньги в карман умного».

«Этого нет у Кузьмы Пруткова» — улыбнулся Петечка.

«Значит пропущено, в новом издании дополним... Захаров, Шато Симетьер есть?..»

«Хотя и Симетьер, а ничего не осталось, все такие знатоки, как вы, выпили...»

Захаров приказал принести еще бутылку — одна стояла уже пустая: он без красного вина не мог написать ни строчки.

* * *

Вошел плюгавенький человечек.

«Семочка, здравствуйте!» — приветствовал Грабельщиков, — «как идет оплодотворение космоса?»

«Ах, Грабельщиков, здравствуйте, здравствуйте... Послушайте, Грабельщиков, у вас есть роман, откуда взяты сионские протоколы... вы мне говорили, что есть...»

«Я вам пришлю».

«Вот спасибо, миленький... А вы добрый, Грабельщиков».

«Познакомьтесь, пожалуйста: Аристархов — Цветков».

Аристархов не видал никогда Цветкова, эту знаменитость. Пожал его потную маленькую руку и с удивлением смотрел на него.

«Не надо видеть знаменитостей близко», — подумал он.

Цветков взял со стола стакан Захарова и выпил несколько капель, оставшихся на донышке.

«Семен Семеныч, я вам налью», — предложил Захаров.

«Нет, милочка, я не пью вина, я только так... вашу капельку. Мысли ваши знать буду...»

III.

«МЭРИ НИКОЛАЕВНА».

В полутемном корридоре Арсений издали увидал фигуру женщины. Она спросила курьера:

«Сергей Степанович у себя?»

«Так точно... Пожалуйте», — ответил курьер.

«Без доклада!» — подумал Арсений.

Он не видел лица, но фигура и походка, особенно

голос, показались знакомыми. Хотел спросить курьера, но счел неудобным.

«Пожалуйте, господин Аристархов», — предложил стоявший у подъезда лихач, — «от «Русской Газеты» ездим... Для господ сотрудников специально».

Арсений сел.

«Откуда ты знаешь мою фамилию?»

«Всех знаю... Двадцать восемь годов у редахции стоим. Еще сам Кащеев был бедный, его возил за пятиалтынный».

«А меня откуда знаешь?»

«Так, барин, заведено... Как кто новый появляется, мне сейчас швейцар докладывает... Я вот и то знаю. что вас сегодня Кащеев принимал».

«А кто эта дама, что сейчас вошла?»

«Кащеевская...» — ответил лихач.

«Как ее фамилия, не знаешь?»

«Фамилию-то запамятовал... как ее?.. Мерия Николаевна звать».

Дома Арсений позвонил Грабельщикову:

«Вы, понятно, знаете, Мэри Николаевну?»

«Знаю. Почему это вас заинтересовало? Хотите, чтобы я вам говорил, так и вы говорите».

«Она мне напоминает одну очень знакомую женщину. Как ее фамилия?»

«Войтон, по сцене Войтинская».

«Так это Войтинская!»

И всетаки это ничего не говорило Арсению. Он знал имя только по театру, ни разу ее не видал на сцене. Решил позвонить ей под каким-нибудь предлогом:

«Кто-то очень знакомый... я ее где-то встречал...»

* * *

Через неделю Арсений сидел в будуаре Войтинской. Это была Манечка, сестра Зины.

Она настолько изменилась, что если бы и видел на сцене, не узнал бы. Фамилия была другая.

«Вот видишь, выплыла... Как? Сама не знаю как... Я тогда вышла замуж за Макса, а через полгода мы разошлись. Я попала в фарс на выходные роли. Нашелся поклонник старичек. Зинин знакомый, балетоман. У меня оказался какой-то талантик. Решила работать, зубрила идиотские роли, часами простаивала у зеркала, изучая позы... Года три прожила со старичком. Он познакомил меня с Кащеевым, когда тот приезжал в Москву на постановку своей пьесы... Сколько мне стоило взять его в руки! Это номер не легкий... Тут пригодились и твои уроки, и фарс, и все то «вчера», что я пережила. Я вцепилась в него, как бульдог, мертвой хваткой... Приехала к нему сама в Петербург. Не ошиблась, что нравлюсь ему... Он познакомил меня с Додо, и обо мне стали появляться в наших газетах рецензии. Это меня выдвинуло...»

«Ты говоришь — в наших!» — засмеялся Арсений.

На Войтинской был пеньюар из легкого шелка. Казалось он скроен и сшит небрежно, чтобы распахивалось немножко то внизу, то вверху, чтобы свалилось то с одного плеча, то с другого. Так умеют шить только в дорогих магазинах.

«Как она пополнела, выправилась... Какие красивые плечи...» — подумал он:

«Руссо писал, что он больше всего боится хорошенькой женщины в пеньюаре и вовсе не боится, когда она совсем одета...»

«Это не по Руссо... Я люблю свободу движений. Наша песенка с тобой уже пропета... Сто рублей, что ты перевел мне в последний раз, может быть спасли меня... Я готова была покончить счеты. Послала тебе пять телеграмм на последние рубли, заложила жакет. Я просила тысячу, а ты перевел сто. Я тебе все прощаю за них... Потом все пошло лучше, это был перелом...»

* * *

В будуаре было много цветов и всюду слоны. На одном туалете штук тридцать больших и маленьких — фарфоровых, бронзовых, из слоновой кости, золотых. Комната была как оранжерея насыщена запахом тубероз. Валялось много книг.

«Сколько у тебя книг, Манечка...»

«Манечки больше нет. Манечка умерла, теперь — Мэри... Кащееву нравится, что много книг. Сколько я пережила!.. Зина умерла, ты знаешь? Я два раза отравлялась, один раз чуть не умерла. Начала кокаиниться...»

«Почему ты уцепилась за Кащеева, когда у тебя был готовый старичек?»

«Я знала, что через него можно сделать театральную карьеру. Мне хотелось вылезти из положения деми-монденки. Он слишком видное лицо и слишком стар, чтобы так легко бросать женщин... Хотелось попасть на его лебединую песню. Она самая нежная всегда, много лучше всех «чистых увлечений...» Ох, уж эти чистые увлечения!..»

«Манечка, откуда это у тебя?.. Слушаю и ушам не верю. Где ты взяла все это, весь этот тон?»

«Я тебе говорю, что Манечки нет, забудь Манечку. Колесо жизни тяжело проехало по мне, но не раздавило. Косточки хрустели, а всетаки жива. Бывают такие случайности... Тогда люди очень живучи — давленые, прессованные, крепкие. Твоя ложка дегтю тоже есть в моей жизни. Впрочем у меня даже теплое чувство к тебе... Любовницей твоей я больше не буду, но друзьями можем быть».

«Ты давно с Кащеевым?»

«Третий год... Раньше он приезжал ко мне в Москву, потом я переехала. Теперь это уже прочно. Он от меня не уйдет. Я его люблю... Не веришь?»

* * *

«Попробуй — это «Кэк Мэри». Помнишь, как ты мне все проповедывал жизнь в полутонах, в тончай-

ших аккордах, неуловимых для обыкновенного уха и недоступных толпе, только тренированным и утонченным индивидуумам — не правда-ли, я хорошо запомнила?! Это мне пригодилось... для других... Для себя полутоны и полуаккорды называются просто — деньги, много денег! Очень много денег... Без них ничего. Без них тоска бедности, кокаин, смерть... Совсем не нужно полубожественных мозгов... Теперь я иногда выдумываю, что заказать повару необычайного, сама сочиняю такие блюда, что даже обжирала Кащеев в изумлении... У меня есть уже «филэ Мэри» и «бомб Деми-вьерж», и еще разное... А как я голодала!.. Ты богат уже?»

«Да, хватит...»

«Я помню, как ты уверял, что духами можно исправить самое убийственное настроение, и я, глупенькая, покупала духи, когда надо было вешаться... Вот эти слоники — они приносят счастье... Кащеев все дарит новых, ездит и ищет необыкновенных... Деньги, только деньги... А все люди цацы...»

«Не вспоминай плохого. Кащеев не терпит, когда ему говорят о неприятном, и я начинаю понимать его. Глубокая философия. Одна из тайн жизни... Есть такое немецкое стихотворение: в могиле похоронено неприятное прошлое, на могиле выросла трава забвения, она поселяет мир в душе приходящих... И вдруг приходит верблюд и съедает траву... Не надо людей-верблюдов. Он прав...»

«Ты заметил, что Кащеев этого не любит? Я думала, что только я это знаю».

«Кащеев — большая величина, Манечка... Он изучен вдоль и поперек... У тебя многие бывают из редакции?»

«Бывают не многие, хотят бывать все. При Кащееве бывает только Додо. Кащеев его любит. Додо всегда без денег. Теперь в клубе подрабатывает сорок рублей за дежурство. Это моя идея — наш клуб... Кащееву недавно звонил министр и просил принять

меры — вся улица повалила, игра идет колоссальная. Знаешь, что Кащеев ответил ему? — «Лучше девятка, чем бомбы...» Другие клубы прикрывают, а наш, понятно, не тронут».

* * *

«Тебе, Манечка, не даром далась жизнь. Мне тоже... Говорят, что я удачник, а мне всегда не везло... Сколько планов я всегда строю, сколько дел начинаю — и попусту. Работаешь, обдумываешь, комбинируешь, вот уже, кажется, деньги в руках, миллион, — и вдруг все разлетается прахом... Когда есть двадцать планов, двадцать возможностей, и одна из двадцати удается — и то хорошо. Как судьба ни упирается, ей приходится давать мне кое-что. Ты такая-же. Кащеев у тебя не случай, ты его искала, нашла, уцепилась, и не выпустила... Такие как мы с тобой, по праву должны сидеть в первом ряду...»

«Ах ты, моя дрянь полосатая», — погладила его Войтинская по волосам.

«Мне тогда больше всего нравились твои волосы».

Уже послышалась другая, более теплая нотка.

«За тебя я спокойна, ты не пропадешь...»

«И я за тебя, Манечка...»

Он обнял нежно ее голову и поцеловал в волосы.

«Ты верно сказал — я не верю в случай... Нет, не верю больше. Я верила раньше, и в Бога верила, молилась. Как я молилась!.. Когда умирал мой ребенок, я молилась часами, я заклинала Бога сохранить мне его жизнь... Он хрипел, задыхался, а я бросалась опять на колени и молилась. Я обещала Богу верить и молиться всю жизнь... Ничего Бог не ответил... Шурик умер. Я обозлилась и перестала молиться... Потом через два года — умирал папочка. Ты помнишь папочку — милый, хороший, добрый... Мама моя дрянь — ты ее тоже помнишь? — Она еще жива... Папочка умирал от астмы. Ему казалось, что он в подземельи и его засыпало, давит землей и он задыхается... «Откопайте меня, откопайте», — кричал. Па-

почка умер... Я была так одинока, но я знала, что папочка придет ко мне оттуда, что там ему хорошо, потому что он был хорош... Ночью я сидела у гроба и все ждала знака. Раньше я боялась покойников, а папочки нисколько... Я просидела две ночи. Его унесли и похоронили. Но когда и похоронили, я всетаки знала, что он тут, опять дома, опять со мной... что он теперь везде, где я... У нас над домом, был большой чердак — страшный, темный. Я всегда боялась этого чердака. Один раз там кто-то повесился. Мне пришла мысль, что папочка из другого мира не может явиться ко мне среди людей... Я ночью взяла ключ и пошла тихонько на чердак, в чулках. Там висело белье. Как белые привидения... Ветром белье колыхало, все было живое... А мне не было страшно. Я нарочно хотела пойти в самое страшное место... На коленях молилась и плакала. О чем молилась? Бог знал бы о чем — мне нужен был какой-нибудь знак от папочки. От папочки — это все равно было бы и от Бога. Мне хотелось, чтобы было страшно, но не было... Утром, когда рассвело, я стала проклинать Бога. Вдруг стало ясно, что Бога нет... И папочки больше нет, все кончено, он не придет, никогда не придет, и никакого Бога нет, никакой загробной жизни нет... Вдруг точно завеса упала. С тех пор я смеюсь, когда говорят о Боге. Как о бабе-Яге или Кащее бессмертном... Нет, нет, нет. Ничего нет — бирюльки для маленьких детей...»

* * *

Она сорвала несколько цветков туберозы и бросила на ковер. Один нарочно раздавила ногой.

«Вот так, чуть чуть не раздавили...»

Потом встала и позвонила. Велела подать бутылку шампанского.

«Пустое место... Он знал, что это меня озлобит, что я уйду от него навсегда. Значит, он нарочно это сделал... Нет, он ничего не сделал, потому что его нет!.. Я больше уже об этом не думаю, это уже на-

всегда решенный вопрос... Вот если сейчас придет смерть, то я, глядя ей в пустые глаза, повторю все...»

«Как странно», — подумал Арсений. «Разве можно было найти в ней что-нибудь теперешнее десять лет назад?.. Точно снова родилась...»

Подали шампанское. Она сразу выпила полный бокал.

«Уу-х... Вот так лучше! Иди сюда, дрянь полосатая, я тебя поцелую...»

IV.

ГЛАША.

У себя в деловом кабинете Арсений подсчитывал биржу последней недели.

«Опять хороший плюс... На этот раз благодаря советам Мамона».

Посмотрел записную книжку — сегодня день рождения жены Мамона. Толстая баба с житомирским акцентом и дюжиной колец на жирных пальцах, она до сих пор говорила «переувеличивать», вместо «преувеличивать», и причмокивала языком, когда хотела выразить сильное удивление.

Арсений позвонил в цветочный магазин и заказал корзину:

«Один горшок орхидей. Остальные подберите, как знаете...»

После завтрака надо быть у Мамона в банке, и необходимо, чтобы он уже знал о корзине.

У Мамона шикарная содержанка, и жена знает об этом и нисколько не сердится. Эта шикарность даже льстит ей. Когда она встречает ее на Морской или на набережной, на паре рыжих, она улыбается ей.

Всякое внимание к жене — это внимание к самому Мамону. Все целуют ее жирную руку с до-красна наманикюренными ногтями.

Арсений просил Мамона купить на сегодняшней бирже сотни три каких-нибудь акций, по его усмотрению. Теперь надо выбрать в маклерской книжке: акция в течение дня колебалась, могли купить дороже или дешевле: если Мамон будет в хорошем настроении, он прикажет дать самые низкие сделки. Обычно, самые низкие банк забирает себе, но можно дать немножко и хорошему клиенту...

Звонил несколько раз телефон, но все были ненужные люди.

«Чему удивляться — кто мне нужен, я к тем сам звоню...»

Любезно обещал каждому сделать, что можно.

Грабельщиков постоянно повторяет:

«Обещай даром, делай за деньги».

* * *

На цыпочках вошел курьер, глуповатый, но преданный:

«Желают вас видеть госпожа Аристархова, Глафира Минаевна».

«Аристархова!.. Просите».

«Неужели Глаша?.. Маленькая Глаша, которую видел пять-шесть лет назад белокурой девочкой с большими темными глазами. Она резала полоски из разноцветных тряпочек и сшивала их в длинную ленту, — «Буду ковер ткать...» Неужели она?»

Дочь двоюродного брата, мелкого подрядчика на железных дорогах. Садит кустики вдоль пути и ремонтирует водосточные канавы. «Десяток другой тысяч вероятно, есть у него...»

Арсений встретил ее в дверях.

«Она, Глаша!.. Ее большие темные глаза».

Она остановилась в нерешимости — сказать «ты»? Он тоже. «Можно поцеловать?»

«Ты узнаешь меня?..» — первая заговорила она. — «Я тебя хорошо помню. Твои синие чулки с белыми полосками и как раз такой же галстук. Помнишь, мы тебя с папашей провожали в лодке?.. Можно тебе говорить ты?»

«Глаша!.. Понятно, помню. Какая ты стала интересная».

Он поцеловал ей руку. Та неловко отдернула.

«Я приехала на курсы. Я кончила гимназию и хочу учиться на курсах... Мне дали твой адрес».

«Ты в первый раз в Петербурге?»

«В первый... Я с подругой, мы вместе наняли комнату».

«Как же тебя отпустили одну?!»

«Меня трудно не пустить, меня не удержишь... Мамаша и папаша долго не позволяли, а я сказала, что тайком уеду. Что со мной может случиться, мне семнадцатый год?».

* * *

«Хорошенькая... Дивные глазки...» — рассматривал ее Арсений.

«Только руки красные... На руках всегда печать плебейства. На руках и на ушах — реже всего бывают красивые уши... Мы ведь, плебеи, Аристарховы...»

Вдруг у него явился повышенный интерес к ней, потому что она тоже Аристархова. В ней та же кровь, что в нем... Он низко кланялся здешнему «свету», заискивал, искал знакомств среди стоящих выше. Часто нарочно не замечал уколов самолюбию — особенно в начале — но в сознании жила враждебность к ним, к этим все получившим по наследству, благородным, голубокровым. Иногда он ненавидел их.

«Хочешь кофе, Глаша?.. пирожных?.. чем тебя угощать?.. Поедем вместе завтракать».

«Какой завтрак! Я скоро буду обедать. Ты вероятно в богатом ресторане обедаешь, а я бедно одета, в блузке... У нас говорят, что ты богатый теперь».

«Будем завтракать в кабинете, Глаша... Поедем».

Было много неотложного дела, но не мог удержаться.

Позвонил в два банка на счет акций, поздравил Мамона с рождением жены. Приказал сказать шофферу, что сейчас едем. Автомобиль всегда стоял у подъезда. Другим на Невском не позволяли оставлять без шофера, но ему можно было.

«Когда не боишься полицейских протоколов и есть место в первом ряду балетных абонентов, карьера уже обеспечена», — думал Арсений, глядя все время на Глашу. Записал тут же этот парадокс на клочке, сунул в карман.

* * *

У подъезда «Медведя» встретился Масальский, Адольф Адольфович. Его звали Амур Амурович. Богатый процентщик, инженер, но занимался только женщинами. Ноги уже плохо слушались. Ходил с палкой, знаменитой прозрачной палкой из акульей жилы. Сидел в первом ряду балета тоже с палкой.

Амур Амурович знал всех хорошеньких женщин Петербурга. На них уходили все его доходы. Женщины его любили — он охотно тратил деньги и ничего опасного не требовал. Говорили, что у него две секретарши — одна для векселей и процентных бумаг, другая для переписки с женщинами... Для каждой женщины особое дело, папка с номером: понятно без фамилии, у каждой свой псевдоним, как в охранке.

«Моя коллекция сексуальных эмоций», — говорил он.

Амур Амурович даже остановился, увидя Глашу. Точно пораженный — как же это ее не знает еще! В кабинете Арсений получил от него записку:

> «Познакомьте с вашей дамой. Честным словом обещаю рыцарское поведение. Два любых знакомств в обмен. Божественные глаза».

* * *

Красный неслышный ковер, шелковые вышитые ширмы, тяжелые портьеры, окно не на улицу, а в общую залу, метр д'отель, в безукоризненном фраке — все сразу понравилось Глаше. Она так себе и представляла, что понравится. Еще бы — Петербург, столица, и с Арсением, богатым и все и всех знающим. Мамаша рассказывала, что его еще ребенком звали «философом», потому что он все знал; так и говорили всегда — «спросите философа, он наверно знает».

Все это рассказала Арсению. Просто, почти наивно.

Метр д'отель назвал Арсения по имени отчеству, — это она тоже заметила, и ей тоже понравилось. И Арсений показался ей более интересным, чем в первый момент. Интереснее, чем она его себе раньше представляла.

И это она тоже сказала...

Дома говорили о нем часто, и между собой и со знакомыми. Порицали его за образ жизни, слишком широкий, и что от своих ушел. И хвастались им в то же время:

«Красивый он?» — спрашивала жена дорожного мастера.

«Нет, не красивый, совсем не красивый, но жених завидный, богатый... Миллионер...»

«Ни жены, ни детей, помрет — кому останется...» — и при этом смотрели на Глашу. Двоюродная племянница, родная, а всетаки можно бы жениться, не такая близкая...

«Семь прислуг, дом свой — особняк, лошади и машину держит... Кучер с часами. Фроська пишет, она у его в экономках живет».

* * *

Пока подавали закуски, стояли рядом у окна и рассматривали залу. Арсений называл некоторых.

«Мы с тобой в знаменитом кабинете, Глаша... Из этого окна великие князья выпустили в залу голую француженку».

«А что за это было великим князьям?»

«Ничего не было, на то они и великие князья. Им все можно».

Глаше понравилось и сладкое вино Шато-Икем, совсем слабое, а голова сразу закружилась. Когда, уходя, Арсений поцеловал ее в волосы, она по детски, неловко, порывисто оттолкнула его, но ничего не сказала. Не рассердилась...

* * *

Прошло две недели.

Сидели в ложе кабарэ.

Глаша первый раз в жизни была в кабарэ. Румынский оркестр изощрялся. Сегодня, как вчера, как год назад, те же заученные жесты и мимика. Но слушающим казалось, что это только для них, только сегодня...

Надорванная, стонущая, а то вдруг бесшабашно разудалая музыка, возбуждала сексуальную тоску. Жажду ласки.

Был подъем от вина, от духов, сигар, этой абсурдной, но сильно действующей на новичка музыки.

«А мне здесь определенно нравится...» — не выдержала Глаша.

Глаша редко чему удивлялась открыто — скрывала свое восхищение. Ей казалось, что невоспитанно удивляться, провинциально. Можно было подумать, что ее ничто не интересует или она ничего не понимает. Но это было только напускное — она воспринимала все остро. Все замечала.

«Это у нас у всех, раскольников... Мы все втихомолку, спрятавшись...» — думал Арсений. И Глаша казалась ему еще ближе. Он угадывал ее переживания и ее восхищение передавалось ему. Он чувствовал ее нервами и был в хорошем настроении.

Хорошего настроения ему часто недоставало в последнее время: он его искал и не находил. А с Глашей оно приходило само собой.

С каждым днем Глаша была ближе, необходимее. Арсений брал ее руку, любовно гладил ее, целовал. И в этих прикосновениях, и в этих поцелуях было теплое, радостное чувство. Хотелось, чтобы Глаша тоже радовалась, чтобы ей тоже было так хорошо, как ему. Ничего, кажется, было не жалко для нее — даже денег, аристарховских денег...

Он не думал как сложатся отношения дальше — сейчас было так хорошо просто сидеть рядом с нею, гладить ее руку, чувствовать теплоту ее тела, смотреть в глаза...

* * *

Сегодня был особенный день: выступал знаменитый исполнитель цыганских романсов. Он создал особый жанр. О нем говорили с восхищением.

Он не пел. Он не мог уже петь, он только надрывал пропитый голос. Жанр его состоял в том, что фразы произносились нелепо, не так, как нужно: конец одного слова соединялся с началом другого, чтобы получалось непонятное, бессмысленное. Ударение делалось там, где оно было наименее уместно...

«Пара гнедых, запряженных с зарею...» — был его коронный номер. Еле слышно, надорванным голосом, он пел первые два слова — «пара гнедых», потом громко, с ударением — «запряженных» и опять тихо закатывая глаза, — «с зарею». Слова то отрубались одно от другого, в подчеркнутом стакатто, то нарочно сливались по два и по три, чтобы нельзя было понять их...

Но всем нравилось. Апплодировали без конца. Кричали, требовали повторений. Когда-то нравилось и Арсению. Теперь казалось диким, идиотским. Если вдумываться в слова, в смысл — казалось еще глупее.

... Но он видел огоньки глашиных глаз и ему было весело.

* * *

«... Ему 35, ей 16. Провинциальная обыденная барышня. Бедная. Без связей. Мещаночка... Всего и есть только, что эти глубокие темные глаза. Жизненный балласт. .Увлечение, может быть, пройдет через две недели после близости. Бессмысленно...»

Не раз так думал и опять бросал ради нее дело. Каждый день виделся с ней. Без нее было пусто, чего-то недоставало.

Едучи в автомобиле, выдумал:

«Ради серьезной женщины нельзя бросить и несерьезного дела. Но ради несерьезной женщины можно бросить все».

Записал как всегда на клочке и сунул в карман.

Он давно собирался писать роман. Начинал несколько раз, но рвал. Не нравилось. «Тупо, бесцветно — разве так надо писать...» Казалось, что такое громадное количество матерьяла — прежде всего, понятно, он сам, Арсений. А окружающие: Грабельщиков, Сидор, Додо, Кащеев, Мамон, только списывай натуру. Все типы. Но ничего не выходило...»

«Нет фабулы: отдельные эпизоды, а фабулу пришлось бы выдумывать, притягивать за хвост. Без фабулы не роман...»

* *
*

Но главное — отвлекали дела. Деньги... Это самое главное.

А ради Глаши бросал дела. Спешил к ней, как гимназист.

После встречи с ней являлась уверенность в себе: он твердо знал, что и как надо делать.

Самое трудное были всегда эти колебания — что надо делать? «Когда кто-нибудь приказывает, много легче: трудно, когда сам должен себе приказывать...»

И встречи с Глашей точно наполняли каким то элексиром решимости. Он отдавал себе отчет в том, что делает. Но импульса остановиться не было. На-

оборот. «Моя жизнь — погоня за деньгами. Однако, я не жалею ни об одном случае, когда я бросал дело ради женщины... Бросал ли я когда-нибудь женщину из-за дела?.. Да, Шурочку. И жалею об этом».

* * *

Сидя рядом на диванчике, касаясь ее плеча, Арсений вдыхал ее запах, чуть слышные испарения молодого здорового тела.

«Обоняние играет первенствующую роль во влечении полов... Запах и сексуальность нераздельны, еще более нераздельны, чем красота и сексуальность... Красивое часто не видят в порыве страсти, а запах остается всегда, всегда действует...»

Его поцелуи были ей безразличны. Она не протестовала: надо же чем нибудь платить за удовольствия и подарки. Из дому присылали мало. Она стала брать деньги у Арсения. Сразу же не отказалась.

Ее глаза горели теперь еще больше. Точно взяли от блеска столичной жизни. В новом костюме, подаренном им. Она привлекала внимание.

Мужчины засматривались, женщины говорили:

«Кокаинится».

«После того, как бриллианты долго были в темноте, они блестят еще больше...» — шутил Арсений.

Даже руки побелели. Амур Амурович был уже знаком, присылал полураспустившиеся розы, но встречаться с ним наедине Арсений категорически запретил.

Имя — Глафира Минаевна — странно вязалось теперь с внешностью Глаши, а для Арсения в этом имени, в этой аристарховской черточке, было еще нечто влекущее.

* * *

Среди пьяного подъема оркестр заиграл вдруг «Авэ Мария».

«Знаешь, что это?.. Авэ Мария, молитва богородице, как раз ей тут место» — засмеялся Арсений.

«Молитва?!» — удивилась Глаша. — «Тут есть моленная нашего толка? Я ни разу с приезда не молилась».

«А утром и вечером молишься?»

«Не всегда... Подручник даже с приезда из чемодана не вынимала... Иконы тут везде не наши. Если бы мамаша узнала!.. Подруга никогда не молится, и мне неловко при ней, только, когда ее нет, молюсь... А ты, Арсений?»

«Богу, Глаша, не нужны поклоны и свещи, он выше этого».

«Ты в Бога не веришь больше?» — испугалась она.

«Я верю, Глаша, в доброго Бога, а не в злого, мрачного, только за все наказывающего... Бог хочет, чтобы нам было весело. Бог добрый и веселый, а не аристарховский».

«Как ты можешь так говорить о Боге?» — опять испугалась Глаша. — «Бог накажет за это...»

«Наш Бог только это и умеет».

Глаша пила шампанское, Арсений — красное вино.

«Красное вино — царь вин... Шампанское для девиц и раста...» — смеялся он.

«Ты, Глаша, неласковая. Такая-же, как я... Это в нас обоих проклятое аристарховское. Я знаю, что иногда, как и я, ты хочешь сказать ласковое, милое слово, а оно само собой останавливается... Поэт написал — «Не оставляй несказанным нежное слово...». Потом захочешь его сказать, а будет поздно».

Он заставил ее отпить из бокала:

«Влечение такое, как у меня к тебе, не грязнит, не опускает. Ни тебя, ни меня... Оно облагораживает, подымает, оно дает духовную энергию... Я хотел бы, чтоб ни одного пятнышка не оставалось на твоей душе. И на теле тоже не остается пятен от ласки...»

«Я не хочу, не говори об этом...» — Глаша закрыла ему рот рукой...

V.

У ГРАБЕЛЬЩИКОВА.

Грабельщиков давно звал Арсения к себе на дачу. Он называл дачей, но это была целая усадьба. Недалеко от Петербурга.

Большой удобный дом с садом и оранжереей. В конце сада на речке пристань с собственными моторными и парусными лодками. Ручные медвежата, лисица, белки, два попугая и даже мангус с киплинговским именем «Рики-Тики». Мангус свободно бегал по дому и никого не ставил ни в грош — ни собак, ни попугаев, ни людей. Всюду лазил и все осматривал...

В саду охотничий павильон с комнатами для приезжающих.

Городская квартира тоже была у Грабельщикова, но туда его семья приезжала всего на день, на два.

Когда Грабельщикова спрашивали, хорошая ли в его местах охота, он, улыбаясь, отвечал:

«На даче у себя я отдыхаю, а охотиться езжу в Петербург».

Приезжая в усадьбу, он менялся до неузнаваемости. Здесь он был мягкий, добрый, улыбающийся, простой. Возился с детьми и зверьками, ловил рыбу. Был самым нежным отцом и мужем. Никогда не приезжал без подарка для жены и детей — хотя пустячок, но никогда не забывал. А нередко это были и ценные вещи. Чаще всего серебро. Особенно любил он покупать зеркала в серебрянных рамах. Их были уже десятки — если не сотни: больших, средних, маленьких, стоячих, висячих, складных, с ручками, без ручек...

Тут в усадьбе всем управляла жена. Энергичная и решительная, постоянно в действии, установившая во всем строгий порядок, чистоту и свой неоспоримый авторитет. Он распространялся не только на домашних, но и на гостей, и гости охотно подчинялись ее режиму:

в доме было обильно, оживленно, вкусно. Только семья Кащеевых была до известной степени исключением. Эти привозили беспорядок.

* * *

В ящике туалетного стола всегда лежали деньги. Она брала оттуда, сколько нужно, и никогда муж не сказал, что много, а еще, наоборот, спрашивал, почему так мало расходуется...

В «Русской Газете» Грабельщиков получал всего пятьсот рублей в месяц, но тратились тысячи. Жена никогда не спрашивала, откуда эти деньги приходят. Они для нее текли самотеком. Мужа она считала простым и добрым, идеалом денежной корректности и человеком недюжинных дарований. Судя по тому, как без счета клались деньги в туалетный столик, она приписывала ему даже некоторую наивность в денежных вопросах.

Властно управляя своей усадьбой, она и себя рассматривала, как женщину исключительную, с громадным административным талантом. Ей казалось, что так же успешно она могла бы управлять хотя бы целым государством. О министрах и других больших чиновниках она постоянно говорила:

«Эти идиоты ничего не умеют... Разве так нужно править государством!»

Благодаря «Русской Газете», у них бывало много людей, но она приписывала это всецело уму и обаятельности своей и мужа. Они с мужем поднимали престиж и влияние «Русской Газеты», а не «Русская Газета» сделала их благополучие, — была она уверена.

* * *

Когда Арсений подъезжал к усадьбе, на крыльце стояла Грабельщикова и разговаривала с каким-то высоким мужчиной. Не разговаривала, а пробовала раз-

говаривать. Тот говорил что-то по английски, а она по русски, и друг друга не понимали.

«Позовите Бебу», — приказала Грабельщикова горничной.

Прибежала девочка лет семи в беленьком платьице и локончиках.

«Что, мамочка?»

«Спроси его по английски, кто он такой и чего он хочет».

Беба смело стала переводить слова матери. Быстро объяснились. Англичанин познакомился с ее мужем в Петербурге и тот пригласил его к себе в усадьбу. У него важное дело, о котором надо спешно поговорить. Так как сегодня суббота, англичанин воспользовался свободным временем и приехал.

«Хорошо!» — сказала Грабельщикова. — «Мужа еще нет дома, но он должен скоро быть... В шесть обед и к обеду он будет... Беба, скажи Маше принести купальный прибор...»

Беба побежала исполнять приказание. Арсений подошел в это время.

«Здравствуйте, Арсений Павлович... Вы тоже идите купаться».

«Я купаюсь в ванне и только у себя дома...»

Он улыбнулся.

«У нас все купаются перед обедом... Вот! Идите купаться... Беба, переведи».

Грабельщикова подала англичанину простыню, полотенце и мешочек. Англичанин раскрыл мешочек и вынул головную щетку в заклеенном прозрачном конверте. «Дезинфицировано» — значилось на нем. В другом конверте с такой же надписью лежал гребень, еще в другом зубная щетка и маленький тюбик зубной пасты. «Щетка в употреблении не была» — было написано на этом...

Англичанин наконец понял, в чем дело, и засмеялся. Ему показали дорожку к купальне и он покорно ушел.

* * *

«Вы слишком самоуверенны для ваших лет!» — сказала Грабельщикова Арсению.

«Вы заключаете из того, что я не пошел купаться?»

«Хотя бы... Я уже раньше это заметила, когда мы с вами в Петербурге встретились...»

«Позволю себе сказать, что я в вас подметил ту же черту».

«Ну... ну! Теперь я понимаю папочку. Вас ругал кто-то, говорил, что вы такой и сякой, а папочка ему ответил, что нам в «Русскую Газету» именно такого и нужно — другой не выдержит».

«За что меня ругали?»

«Не знаю, спросите папочку... Пойдемте в сад, — поможете мне розы подвязывать».

«Это я могу».

Вошли в сад.

Все было в образцовом порядке: ни одной сорной травинки — ни на дорожках, ни на грядках. Все чисто подметено, полито, подвязано, срезаны отцветшие цветы и желтые листья.

Горничная позвала Грабельщикову к телефону.

* * *

Арсений занялся медвежатами; они сидели тут же, в клетке.

«Бой-баба твоя хозяйка!.. Понимаешь, Мишка?». Тот утвердительно мотнул головой. Подбежала Беба с двумя мальчиками, один лет шести, другой — может быть восьми, совсем япончонок.

«Его зовут не Мишка, а Мум, а того Аи», — сказала Беба. — «Они знают свои имена и они умеют на задних лапах ходить... Хотите, я вам покажу?»

Беба открыла клетку. Медвежата сейчас же вышли на дорожку, забавно переваливаясь и цапая лапой один другого.

«Разве у тебя два брата, Беба?»

«Нет, у меня один брат, вот этот, Боба, а это Муси, он японец».

«Почему же он у вас живет?»

«Он к нам в гости приехал, его папа японский посол...»

«Ты говоришь по русски?» — спросил Арсений Муси.

«Немноско... и немноско английски, и холосо японьски», — дал Муси исчерпывающий ответ.

«Он у нас уже неделю живет», — дополнил до сих пор молчавший Боба, чтобы и себя выдвинуть на видное место. — «Ему сегодня японец белье привез и новый костюмчик, и башмаки, но это совсем не надо, потому что мамочка уже раньше ему все купила в городе... Она говорит, что не мог же он ходить в одной рубашке целую неделю, и в одном костюмчике... Вот этот костюмчик мамочка купила...»

Муси поднял голову и обдернул матроскую курточку. Медвежата полезли в гряду. Дети без церемонии, за шиворот, потащили их обратно в клетку.

* * *

К дому подкатил лимузин. Из него вышел шикарный мужчина с мальчиком и сам Грабельщиков. Арсению сразу показалась знакомой эта черная борода, но он не мог издали решить, кто это. На крыльцо вышла мадам Грабельщикова.

«Здравствуй, папочка! Давно ждем тебя... Почему сегодня позже?»

Она поцеловала мужа, он поцеловал ей руку.

«Позволь тебе представить — маркиз Кастелло Ричи... Мы около вокзала встретились. Маркиз привез к нам погостить своего Джэка...»

«Тут англичанин тебя ждет... и Арсений Павлович».

«Арсения Павловича я вижу, а какой англичанин?»

Грабельщикова описала его наружность.

«Я его послала купаться... Вон он идет обратно».

«А! Мистер Каррэй, очень рад», — замахал рукой Грабельщиков.

Все вошли в дом, на веранду, большую, мощеную белыми плитками, уставленную цветами и с двумя попугаями на жердочках. Арсений вспомнил теперь маркиза Ричи:

«Это тот самый, которого Грабельщиков звал международным авантюристом, шпионом и каторжником, когда сидели у «Медведя».

* * *

По столу, уже накрытому для обеда на много приборов, мягко и бесшумно бегал Рики-Тики и проверял внутренности стаканов и бокалов. Наконец, он залез в вазу для цветов, еще пустую, и оттуда долго торчал только его хвост.

«Задохнешься, каналья», — сказал Грабельщиков и вытащил его за хвост. Мангус не обиделся, как будто так и надо. Полез, как ни в чем ни бывало, во внутренний карман хозяина.

Грабельщиков отозвал в сторону Арсения.

«Каррэй приехал говорить со мной о своей концессии... К обеду будет Петичка, я мог бы его приспособить переводчиком — сам я в языках не силен, как вы знаете — но я предпочитаю иметь дело лучше с вами, Арсений Павлович. Вы по английски говорите?»

«Достаточно, чтобы объясниться».

«Хорошо... Я вас тоже пристрою к делу... Понятно, вы должны будете помогать всем, чем можете. Все должно остаться в строгой тайне. Речь идет, очевидно, о поддержке его концессии «Русской Газетой». Статьи, заметки... Буду писать я, и вы тоже иногда... Концессия большая, около двух миллионов фунтов. Я выговорю нам, что можно... Придется кое-что дать и Петичке: его нос сразу почует запах жареного и он может напортить, если и ему не отрезать кусочка. Напрасно я его как раз сегодня позвал, чорт возьми!.. Я думал, что Каррэй предупредит о своем приезде».

«А каким образом попал к вам маркиз?»

«Это сложнее... Потом расскажу. Он хочет, чтобы его сынишка сдружился с японченком. Видели у нас японченка? сын советника японского посольства... Оставит у нас своего Джэка, пока тот тут... Очевидно, не мог иначе пролезть в японское посольство».

«А вам что от этого?»

Грабельщиков улыбнулся своей доброй и насмешливой улыбкой.

«Я с него уже получил задаток по другому делу, а зачем ему нужен японченок я, понятно, не знаю... Вы тоже ничего не знаете... Я вам верю».

* * *

Приехал Петичка и еще неожиданно явился к обеду Момус. Карикатурист «Русской Газеты». Так он подписывал свои карикатуры и так его его все звали.

Всегда веселый, жизнерадостный малый, всегда немножко пьяный, всегда способный на любую выходку. За веселье его все любили, прощали ему иногда обидные шутки. По первому же приглашению он мог петь смешные песенки, танцовать дикий танец в простыне, рассказывать анекдоты, подражая разным языкам, хотя ни одного, кроме русского, не знал. Особенно забавны были его рассказы на английском и финском, сплошь состоявшие из русских слов, но произносимых с удивительной подражательностью английскому и финскому.

«Здравствуйте, Момус», — встретила его любезно, но с достоинством мадам Грабельщикова. — «Сегодня вам придется говорить только по английски. У нас гость мистер Каррэй, ни на каком языке не говорит».

«Ольрайт... будем говорить по английски», — и Момус не смущаясь тут же подошел к англичанину, протянул ему руку и начал говорить что-то, какой-то набор слов. Тот, ни слова не понимая, удивленно

уставился на Момуса. Все смеялись, а Рики-Тики полез в карман к Момусу.

«У меня, брат, в кармане, кроме трубки и табаку, ничего нет, даже носовой платок дома забыл... Тут впрочем дают и платки и зубные щетки... Я один раз даже ночную рубашку упер, ха-ха-ха».

* * *

Наверху зазвонил гонг. Половина шестого — детский обед. Дети обедали всегда отдельно в своей маленькой детской столовой. Только, когда не было никого чужих, Беба и Боба с гувернанткой сидели со взрослыми. Но такие случаи бывали редко. Почти каждый день были гости. Нередко приезжала чуть не вся сразу семья Кащеевых и тогда в доме начинался сумбур. Не помогал уже и строгий авторитет хозяйки. Одни ели в одно время, другие — в другое. Опаздывали к обеду. Одним была нужна одна диэта, другим другая.

Жена одного Кащеева страдала бессонницей и всю ночь у ее постели должна была дежурить горничная и горела особая лампочка-лампадка, дававшая не больше, не меньше, а именно столько света, сколько полагалось для ее нервов. Иногда Кащеева совсем не ложилась, а всю ночь вышивала и ей надо было подавать то чай, то горячий лимонад, то апельсины, то делать горячие компрессы.

Дочь Кащеева вставала иногда в шесть утра, иногда в одиннадцать, и как только она просыпалась, ей надо было подавать в ту же минуту в постель кофе и горячего вареного цыпленка...

У внуков Кащеева тоже у каждого был особый вкусовой каприз и свои привычки. Отступать от них было нельзя и надо было их твердо помнить...

Повар и остальная прислуга проклинали те дни, когда приезжали Кащеевы.

Зато теперь было точно по расписанию. Половина шестого гонг к детскому обеду. Шесть — гонг к большому обеду...

* * *

Маркиз Ричи говорил по английски, как англичанин. Он уже вел в зимнем саду оживленный разговор с Карэем. Попугаи принимали горячее участие: пришлось уйти в гостиную.

Арсений прислушивался. Речь шла о каких-то военных заказах румынского правительства в Англии, и Карэй видимо заинтересовался этим делом. Ричи его убеждал и тот соглашался.

Сам Грабельщиков поднялся наверх присутствовать при детском обеде. Это он делал всегда неотменно и рассказывал детям во время обеда смешные истории: смех улучшает аппетит и помогает пищеварению.

Арсений и Момус пошли к медвежатам. Садовник поливал сад. Стоял пряный запах левкоев, гвоздик и белого табаку.

«За эти цветы много грехов простится хозяину», — сказал Арсений.

«Я его люблю. Остроумнейший человек!» — вдруг захохотал Момус и стал прыгать по дорожке большими прыжками.

«Это голландский шаг, попробуйте... Раз, два — т р и... Раз, два, т р и... Раз, два, т р и...»

«Много в вас еще молодости, Момус, даже завидно. Сколько вам лет?»

«Человеку столько лет, сколько он чувствует. Из полка меня выгнали ровно двадцать два года тому назад. Сыну двадцать лет... У одного годы длинные, у другого коротенькие... У меня коротенькие... Знаете, отчего я смеюсь? Вчера я просил у Грабельщикова взаймы тридцать рублей и он, разумеется, не дал. Я ему говорю: — прочтите Евангелие — «рука дающего не оскудевает», а он в тон — «смотря кому

и на какие проценты». Ха-ха-ха... А вы, Арсений Павлович, довольно таки мрачный пассажир. Живет еще в вас древний раскольник... Секрет жизни — смех».

* * *

«Я вам всетаки удивляюсь, Момус. Вы умный человек, а вечно фиглярничаете. Многие не понимают и относятся к вам не так, как следует».

«Чихать я на них хочу! Мне так нравится... Лучше фарс, чем трагедия... Вас я давно хочу изобразить в шарже... Вот! Сидит на большом плюшевом диване хорошенькая девочка. В чулочках, в шляпке со страусовыми перьями и в коротенькой рубашеночке... Ножки подобрала на диван и обняла их ручками... и подмигивает вам. А вы, наморщивши чело, нагнулись над ней и рассматриваете ее в большое увеличительное стекло! Ха-ха-ха... Блестящая композиция в красках — пердю монокль... двадцать пять рублей и она переходит в вашу собственность... Серьезно, дайте мне двадцать пять рублей. На будущей неделе доставлю карикатуру. Клянусь бородой Магомета».

«Я дам двадцать пять рублей, но когда будет готово».

«Ольрайт, давайте пять рублей авансом».

Арсений дал.

«Помните, Момус, вы рассказывали несколько раз об афинских ночах у Ларисссы Багряной. Свезите меня туда как-нибудь. Вы ведь там верховный жрец?..»

«Ага!.. Я на вас оказываю благотворное влияние. Ха-ха-ха... Являются легкомысленные желания... Я не верховный жрец, а один из жрецов, всего трое. Хорошо, поедемте в среду. Это всегда по средам... Только как же это вы будете там раздеваться? Там все раздеваются догола».

«Как-нибудь устроимся. Вы разденетесь за двоих», — засмеялся Арсений. — «Действительно раздеваются все?»

«Кроме особо безобразных или с явно выраженными физическими недостатками... Ха-ха-ха! Один там бывает с косматыми ногами — так он специально фавна изображает... Хозяйка встречает всех в дверях голюсенькая, только окутана голубым газом, легоньким и прозрачным. Сложена божественно, я вам скажу... А муж стоит посреди зала на пьедестале в костюме Адама до грехопадения и скандирует свои стихи. Я это тоже делаю. Уморительно!.. Танцуем в газе, потом в темноте поем гимн Венере, Эросу и другим богам... Потом хороший ужин, что весьма су-щес-твен-но... Самый занятный номер старая нянька Багряного. Она ходит в чепчике и все время ругается: «эх вы бесстыдники, страму на вас нет... Хыть бы меня, старухи, посовестились...» Она необходимая часть программы. Все ее очень любят и зовут нянюшкой. Без нее программа была бы неполной... Хорошо, поедем. Я раньше должен спросить двух других жрецов, но, нероятно, возражений не встретится. Я уже как-то говорил о вас».

* * *

Зазвонил гонг к большому обеду.

За обедом было оживленно. Больше всех говорил маркиз Ричи. Рассказывал петербургские и международные сплетни. Старался подчеркнуть, что чуть ли не все дипломаты его приятели. Говорил мягким, приятным, располагающим голосом. Даже Грабельщиковой понравился.

На столе стояли бутерброды с икрой. Момус взял один. Потом другой, третий.

«У вас бутерброды, так бутерброды! С икрой, так с икрой», — сказал он хозяйке. — «У других, иных, бывает, плюнуто на булочку икоркой и обратно взято. Ха-ха-ха... Не с икрой, а пердю-монокль...»

Он сам первый смеялся, не ожидая будут ли смеяться другие. Но другие тоже смеялись — почти каждой его фразе. Если самая фраза не была смеш-

на, то Момус корчил при этом такую рожу, что смеялись ей. Было и смешно, и как-то уместно. Его любили. Даже сама Грабельщикова, требовавшая ото всех почтительности, и та смеялась. Момусу все разрешалось не в пример прочим. Он способен был добродушно высмеять даже ее распоряжения и ее самое, и она не рассердилась бы.

* * *

Арсений сидел рядом с англичанином и они вполголоса вели разговор по английски. Показался Арсению бесцветным и неумным.

«Среди них много таких», — думал он, — «как будто совсем дурак, а потом оказывается, что свои дела ведет превосходно. Порученное дело выполняет лучше всякого другого... Мы русские блестящи и искристы, но только на словах, а на деле оказываемся негодными. Ничего до конца довести не умеем... Замечательная нация эти англичане...»

Он старался найти в словах англичанина хоть что-нибудь скрыто умное и всетаки не находил. Каждая фраза — образец умеренности, бездарности и шаблонности. Даже костюм. Хотя бы этот бриллиантовый крестик в галстуке!

* * *

Когда подали сладкое, Грабельщиков встал из-за стола.

«Я должен просить извинения у гостей. Сладкого я не ем, а детям обещал покатать их на моторной лодке, пока светло. Через час мы вернемся».

Дети уже сходили вниз, зная, что обещание папочки исполняется до минуты точно.

«Боба, иди наверх, скажи, чтобы взяли плэды... На реке может быть холодно», — распорядилась Грабельщикова.

Боба побежал исполнять приказание матери, но гувернантка уже сама это предвидела. Сходила по лестнице с плэдами. Домашняя система действовала, как хронометр.

Грабельщиков посмотрел на Петечку. Тот поймал взгляд, встал и тоже заявил, что не ест сладкого.

«Я очень люблю кататься на лодке — разрешите и мне», — спросил он хозяйку.

«Дело не в катаньи!» — подумал Арсений. Уже перед обедом, проходя мимо, он слышал, как Грабельщиков, говоря с Петечкой вполголоса, произнес имя Войтинской. Когда Арсений подошел близко, разговор сразу перевели на другую тему.

«Готовят какую-то интригу. Надо предупредить Мэри... Очевидно, это и меня касается. Приглашает меня в дело, а в тоже время что-то против меня замышляет... Какую-то пакость. Ну, народ!..»

* * *

После обеда мадам Грабельщикову опять вызывали к телефону. Она долго разговаривала с Петербургом и вернулась раскрасневшаяся и возбужденная. На стол собирали вечерний чай.

После чая гости стали собираться уезжать. Арсений тоже.

«Вы же у нас остаетесь на воскресенье — так уславливались», — сказал Грабельщиков. — «Нам надо еще поговорить...»

Арсений оставаться не хотел. Он условился провести воскресенье с Глашей.

«Тогда оставайтесь ночевать, а завтра утром я вас отвезу на кащеевском автомобиле прямо в город. Я все равно утром еду. За мной пришлют автомобиль», — вмешалась Грабельщикова. Муж посмотрел на нее удивленно, но та кивнула ему головой и он ничего не спросил.

* * *

«Что-то случилось у Кащеевых», — решил Арсений. — «Дорогой постараюсь узнать...»

Когда одевались, тут же оказался и Рики-Тики. Он залезал в карманы пальто и в рукава — точно осматривал, не увозят ли гости чего-либо хозяйского... Прыгал с вешалки на зеркало, с зеркала на спину Грабельщикова.

Момус выбежал в переднюю первым и, когда выходили остальные, он стоял уже на старинном ларе в позе Наполеона. Шляпа маркиза Ричи несколько пострадала, чтобы стать наполеоновской треуголкой. Но белая грудь и красная лента через нее были совсем безболезненно сделаны из салфетки и красной бумаги, которой только что был обернут вазон цветов. Следующим номером оказался Бернард Шоу. Его борода в секунду сотворилась из рыжеватого шарфика. Момус стащил его со смехом с плеч хозяйки так решительно быстро и мягко, что та не успела протестовать.

Когда вышли на крыльцо, явились провожать три собаки: приветливо виляли хвостами и тыкали в руки холодными влажными мордами. Рики-Тики поспел уже и сюда, ощетинился на собак, но нисколько их не боялся.

Всем было весело. Уезжали в хорошем настроении. Не только от вкусной еды и выпитого вина, но в самом доме жило хорошее настроение.

«Жизнь интересна не у добрых и душевных, а у острых и горячих людей... Человек большой энергии заражает ею и других. Хуже всего холодненько-тепленькие слизняки», — думал Арсений, прощаясь с уезжающими.

* * *

Англичанин уезжал тоже довольный. Сговорились, что Грабельщиков и Арсений будут помогать вновь организуемому русско-английскому обществу заметками и статьями в «Русской Газете», а, может

быть, и в других. Грабельщиков обязуется, кроме того, лично помочь в сношениях с министерствами и другими учреждениями. За это англичанин дает им на двести тысяч рублей учредительских акций, «которые вероятно при выпуске на биржу будут стоить вдвое».

Арсения удивило даже, как легко пошел англичанин на эти условия и какое громадное значение придавал он статьям «Русской Газеты». Грабельщиков предложил Арсению и Петичке по пятнадцати процентов участия. За что Петичке, который в переговорах не участвовал и ничем не обязывался, Арсению было не совсем ясно.

Но торговаться не приходилось.

«Грабельщиков мог ведь и совсем не сказать об этом деле. Сорòка на хвосте принесла!.. Вполне возможно, что акции будут стоить вдвое — тогда это шестьдесят тысяч... Шестьдесят тысяч большие деньги!» Арсений вспомнил ахаевские двадцать пять рублей за уроки кристаллографии и все те унизительные намеки, какие потом пришлось переносить за них.

«А другие зарабатывают на бирже сотни тысяч в день... А еще другие получили от папаши наследство в десяток миллионов, не ударивши для этого пальцем о палец... Что эти мои проблематические тысячи в сравнении с их деньгами?!.. Им даже не пришлось совершать сделок с самим собою и унижаться из-за моих ничтожных денег... К ним миллионы пришли сами собой... Не только миллионы, но и воспитание, без которого так тяжело потом. Сколько я долблю уже английский язык, а еле-еле прилично вышел из этого разговора... Приходится говорить не так, как нужно было бы, как умеешь и хочешь, а трафаретными фразами, с лишним напряжением... Хорошо еще, что этот англичанин сам мямля... И эти тысячи пока ведь воздух, вилами на воде писано, «еще тебе не зажаренное и в рот не положенное... еще по полю бегаемое хотя и видимое уже», — вспомнил Сидорову науку. «Из двадцати бегаемых одно только в рот по-

падаемое», — дополнил Арсений сентенцию от себя, улыбаясь. В этот момент он увидел себя в зеркале и подумал, уже не в первый раз:

«Надо как можно чаще улыбаться. У меня гораздо приятнее лицо, когда я улыбаюсь. Да и у других... Это тоже воспитание: меня не приучили улыбаться и сколько мне это стоило...»

* * *

Утром дом выглядел еще приветливей. Белые клумбы стали еще белее, зелень еще свежее и ярче. Ярко-красными пятнами разбросаны были розы. Большая стеклянная веранда и зимний сад залились радостным солнцем. Попугаи тоже стали ярче и не кричали, а бормотали что-то смешное на попугайном языке. Рики-Тики дразнил белую кошку. Та делала вид, что не обращает на него внимания, и кокетливо жмурила свои блестящие аквамарины...

Белок выпустили из клетки, они бегали по дорожкам и брали из рук орехи. В конюшне кричал ослик и его отнюдь не музыкальный крик, среднее между верблюжьим и павлиньим, тоже как будто придавал уютность дому.

«Фомка кричит резонно. Его должны были запрягать уже пять минут тому назад», — сказала Грабельщикова, когда садились в большой кащеевский лимузин. —«Дети ездят каждое утро кататься. Боба и Беба сами правят».

* * *

Дорога была отвратительная, но ехали быстро. Автомобиль раскачивало и подбрасывало, но не трясло, а мягко укачивало.

«Продам непременно свой и куплю такой большой», — думал Арсений. — «Громадная разница в езде... и главное, в случае столкновения, мой разобьет кого-нибудь, а не меня разобьют!.. Гораздо безопас-

нее... Чем больше денег, тем безопаснее и тем мягче», — улыбнулся он своей мысли.

«Хорошо у вас в усадьбе!» — сказал он вслух.

Грабельщикова приняла это как должное — разве у нее может быть плохо!

«Что такое случилось у Кащеевых?» — спросил он прямо после паузы. Он думал еще ночью, как расспросить Грабельщикову, и решил, что так прямо лучше всего. Она же знает, что он в курсе закулисных редакционных дел, и знает также, что муж хочет с ним действовать за одно, рука об руку... «Такая как она случайно не проговорится, а при неожиданном прямом вопросе у нее среднего выхода не будет: надо ответить или не ответить. Вероятно, она решит ответить, чтобы не испортить его добрых отношений с мужем...»

* * *

Грабельщикова пытливо посмотрела на Арсения, колебалась только несколько секунд и рассказала:

«Между нами... все равно потом узнаете...»

Оказалось, жена Кащеева-сына уехала неделю тому назад с детьми в имение. Вчера она неожиданно вернулась со старшей дочерью и застала дома невообразимое. У мужа сидели совсем по домашнему две фарсовых актрисы. Рубашка и еще что-то одной из них оказались в ее спальне. Это была не новая история, но на этот раз разыгрался скандал с истериками и битьем посуды. Жена заявила, что расходится с мужем окончательно, требует немедленно развода и переехала с дочерью в Европейскую гостиницу. Старику Кащееву тоже уже сообщили об этом. Он нецензурно ругался. Грозит тоже уехать заграницу из этого бедлама...

«В конце концов потребовал, чтобы сын вызвал меня немедленно улаживать это дело... Мне ехать очень не хотелось, но приходится».

«Что-ж, уладите?» — смеялся Арсений.

«Понятно улажу... Не в первый раз. Заставлю на коленях просить у жены прощения и ехать на месяц в деревню. Такая ему эпитимия, ха-ха-ха!.. Вся семья такая, со старика начиная. Но старик на стороне блудит, а эти в дом везут, безобразники...»

VI.

КОНЦЕССИЯ.

Прошло месяца два.

С концессией все было налажено. Грабельщиков получил обещанные акции и отдал то, что полагалось Арсению и Петечке. Отдавая, он заметил:

«Разбойники добычу делят честно».

На днях дело должно было рассматриваться в Совете Министров. Можно было ожидать, что никаких препятствий к утверждению концессии не встретится. Как вдруг случилось самое непредвиденное.

* *
*

Самым видным сотрудником «Русской Газеты» был старый известный журналист Альфа. Его настоящая фамилия была Аронов, происходил он из евреев, отец его крестился и стал, как это обычно бывает, особенно ревностным православным и националистом. У сына эти черты были выражены еще сильнее. Его православность доходила до слащавой церковности, а национализм — до крайнего шовинизма. Эти свои взгляды он или прямо, или между строк, проводил в своих статьях.

Статьи Альфы читала вся Россия. К ним прислушивались в правительственных сферах. С ними счи-

тались. Выдержки обычно передавались иностранными корреспондентами за границу и это еще больше увеличивало влияние Альфы. Старик Кащеев недолюбливал Альфу, но считался с ним, как с весьма нужным сотрудником, и платил ему большие деньги. Альфа зарабатывал тысяч пятьдесят-шестьдесят в год. Раза три-четыре в неделю появлялись в «Русской Газете» его статьи. Иногда подвальные фельетоны. Иногда, после передовицы, в 150-200 строк, всегда за подписью.

Почти никогда не видали Альфу смеющимся, а в статьях было много юмора. У Альфы был один из секретов успеха: писать приятное многим и время от времени делать неприятности стоящим наверху. Так любит широкий читатель. Альфа постиг этот секрет полностью. Умел это делать особенно искусно. Всегда с оглядкой на сферы, на высших мира сего. И даже мира потустороннего! Царь и Бог. Неприятности можно делать только готовым упасть, хотя толпа этого еще не знает.

Читатели знали: если Альфа тронул кого-нибудь большого, значит ему скоро конец...

Сотрудники «Русской Газеты» тоже не любили Альфы, да и любить его было трудно. Он держался отчужденно, ни с кем не сходился, никого из сотрудников к себе не приглашал и ни у кого, кроме самого Кащеева, не бывал.

Другим сотрудникам нередко в редакции давались темы для статей. Альфа всегда выбирал темы сам и все его статьи печатались без исправлений и сокращений.

* * *

Как раз за несколько дней до заседания Совета Министров в «Русской Газете» вдруг появилась большая статья Альфы с резкой критикой концессионной политики правительства и с самыми убедительными доказательствами, что никаких концессий иностранцам давать нельзя. О данной концессии не упоминалось,

но этой статьей ей наносился громадный вред. Было весьма вероятно, что Совет Министров не утвердит ее. Раз писал Альфа, то несомненно кто-то уже думал так в высших сферах и это стало Альфе известно...

Маленький холодный человечек, с остренькой бородкой, небрежно одетый и всегда с зонтиком, носил в себе что-то демоническое.

Накануне выхода номера вечером в редакции Арсений увидел гранки этой статьи. Прочел и махнул рукой — «пропали деньги!»...

Грабельщиков на утро явился в редакцию взбешенный, но никому, кроме Арсения и Петечки, ничего не сказал. Даже он, Грабельщиков, в данном случае не знал, как помочь делу.

Написать сейчас статью в той же самой «Русской Газете» против статьи Альфы было невозможно. Грабельщиков ругал Альфу самыми отборными петербургскими эпитетами, но выхода не находил.

* * *

Арсению пришла блестящая мысль: нашел выход. «Может быть и выйдет»...

Он позвонил Грабельщикову и предложил ему:

«Дадите вы мне еще сорок процентов, если я сделаю так, что Альфа больше писать против концессии не будет и даже напишет что-нибудь в защиту именной этой концессии?»

«Это каким же образом!?» — удивился Грабельщиков. — «Если вы предложите ему даже половину этих сорока», — он подмигнул при этом сам себе у телефона, — «он выгонит вас вон, да еще вероятно расскажет Кащееву и получится такая каша, что в три года не расхлебаешь».

Альфу называли злым гением русской журналистики, но никто не упрекал его во взятках: взяток Альфа не брал. Ни прямо, ни косвенно. Своими громадными гонорарами он и так составил себе уже капитал. Все его увеличивал. Подойти к нему с день-

гами было немыслимо. Разыгрался бы большой скандал.

«Это уже мое дело! Я не ребенок», — ответил Арсений.

При встрече Грабельщиков пробовал допрашивать, каким образом намерен он это устроить, но Арсений категорически отказался от всяких пояснений... Грабельщиков считал, что дело почти провалено. Стал торговаться: предложил еще пятнадцать процентов, потом тридцать пять,чтобы вместе с прежними была ровно половина.

Арсений сказал тогда нарочно резко:

«Когда вы мне дали пятнадцать, я не торговался. Теперь вы не торгуйтесь, а с Петечки получите десять обратно. Ему зря дали столько же, сколько мне...»

Грабельщиков согласился и принес акции.

* * *

В тот же день Арсений был у Войтинской. Рассказал ей все дело и отдал ей на сорок тысяч акций.

«Ты, Манечка, достаточно умна для того, чтобы выбрать подходящий момент и дать понять Кащееву, что ты заинтересована в этой концессии... Скажи ему несколько слов из того, что я говорил об ее выгодности. Но главное, понятно, Кащеева заинтересует твой заработок в этом деле, хорошо оно или плохо... Одним словом, ты понимаешь, в чем дело. Мне только необходимо, чтобы Кащеев уже знал об этом, если его вдруг Альфа спросит...»

Дальше, по плану под тем или иным предлогом Арсений должен был встретиться с Альфой и как бы между прочим, мимоходом, рассказать ему, что Кащеев купил-де акции английской концессии и что он, Арсений, тоже хочет купить. Говорят, будто бы это дело сулит громадные выгоды и правительству и акционерам... Если Альфа узнает, что Кащеев лично заинтересован в этом деле, он не только не напишет больше ни одного слова против, но весьма возможно,

что напишет з а. Изворотливейший ум этого человека найдет всегда для этого удобную форму и повод. Альфа больше всего дорожит добрыми отношениями с Кащеевым, ибо второй газеты, куда он мог бы уйти и где ему платили бы такой шальной оклад, в России нет... Он ясно понимал, что, уйди он из «Русской Газеты», все его влияние быстро разлетится прахом: Альфа нужен «Русской Газете», «Русская Газета» нужна Альфе...

Целый вечер Арсений продежурил в редакции, надеясь в коридоре столкнуться с Альфой. Уехал уже во втором часу ночи, но Альфа в этот вечер в редакцию не приезжал. Между тем нельзя было терять ни одного дня: что-то нужно сделать до заседания Совета Министров.

* * *

Альфа жил около Петербурга по финляндской железной дороге. Арсений решил поехать туда и как бы случайно, гуляя, встретиться с Альфой. Он знал, что часов в 10-11 утра Альфа уезжает в Петербург и домой является обычно к обеду, часам к пяти. Иногда и позже, если обедает у кого-нибудь в городе. В тех случаях, когда он обедал в городе, он потом заезжал в редакцию.

На имя Альфы в редакцию «Русской Газеты» приходила громадная корреспонденция и, если он вечером не бывал, то на утро ему отвозил ее курьер.

Приехавши на станцию без четверти десять, Арсений в течение полутора часов ходил по перрону, по буфету, выходил на подъезд. Все время старался держать себя так, чтобы не обращать внимания. Чтобы никто не заметил, что он кого-то ждет... Все было бы испорчено, если бы Альфа догадался, что Арсений его поджидает, что встреча расчитана.

Он стоял по несколько минут у расписания поездов, будто читая его. Делал вид, что записывает. Потом быстро шел на платформу, доходил до какой-нибудь двери, точно вспомнивши что-то, смотрел на

часы, круто поворачивался и шел обратно... Чтобы протянуть время, по корридору, где никого не было, шел как можно медленнее, но сразу ускорял шаги, как только кто-нибудь мог видеть... В любой момент можно было столкнуться с Альфой.

Ходил на подъезд, опять на платформу, в буфет, но там нельзя было сесть, — Альфа вероятно пройдет прямо на поезд. Было бы самое неприятное столкнуться с ним, выходя на подъезд. И самое лучшее — входя в подъезд. В первом случае выходило бы, что Арсений только что приехал и было бы неудобно ехать с Альфой обратно в Петербург...

* * *

Было уже двадцать минут двенадцатого, все сроки прошли, а Альфа не показывался. Арсений волновался:

«Будет глупее глупого, если мне придется вернуть Грабельщикову сорок тысяч... Не только деньги пропадают, но будет еще издеваться года три».

Вдруг у самого входа в вокзал, в самой неприятной комбинации столкнулся с Альфой лицом к лицу.

«Испортил все!» — решил Арсений в ту же секунду, когда увидел Альфу. «Не могу же я сказать, что еду в Петербург, если я выхожу из подъезда!.. Значит я только что приехал».

Однако помог случай.

Оба остановились, поздоровались и Альфа спросил:

«Как это вы в наши места попали?»

Арсений экспромтом ответил:

«Тут у меня один знакомый болен, просили непременно заехать... я на полчаса».

«Я сегодня не еду в Петербург, мне только нужно встретить поезд, в котором едет знакомый в Швецию... Может быть, зайдете ко мне?»

У Арсения даже румянец появился от радости. Именно это ему и было нужно! «Почему это Альфа меня к себе приглашает — в чем дело?»

«Да, понятно, с удовольствием... Если позволите, я через час у вас буду».

⁂

Записал адрес, хотя и так его уже точно знал. Нужно поговорить с Альфой как-нибудь о концессии, но хотелось заодно взглянуть и на его домашнюю жизнь, о которой ходило столько легенд. Ни одним журналистом в России публика так не интересовалась, как им. Разнообразие, неисчерпаемое обилие фактов, вообще блеск статей Альфы были поразительны. Он мог писать по аграрному вопросу, о новых пушках, о медицыне, о современном направлении во французской литературе, о шансах экспедиции на северный полюс — о чем угодно, и все это было полно громадной осведомленности, доказательств, казалось неопровержимо убедительным.

У читателя было представление, что где-то за кулисами десять лучших специалистов работают на Альфу, а он только подписывает статьи...

Насколько было известно, личная жизнь этого человека и его статьи были так далеки, что трудно было поверить в их общность.

Как-то Альфа написал большой фельетон о красоте. Он доказывал, что люди безобразные не имеют нравственного права жениться, так как печать их безобразия перейдет к потомкам, те будут проклинать их. Человечество должно стремиться стать красивее... Тут был целый трактат по евгенике, последние слова научных теорий...

А через месяц Альфа женился на своей прислуге, отличавшейся исключительным безобразием!

Плюгавенький, шморкающий носом, брызгающий слюной на собеседника при разговоре, носящий на усах остатки обеда, вываливающий еду из тарелки —

в жизни. И блестящий, бьющий фонтаном остроумия, логики и эрудиции, импровизирующий отточенными красивыми фразами — на столбцах газеты...

* * *

Ровно через час Арсений подходил к дому Альфы. Оказался маленький, деревянный домик, даже без электрического звонка, а с провинциальным колокольчиком. На дверях никакой таблички — только ящик для писем. Ступени крыльца скрипели и гнулись.

Дверь отворил сам Альфа. По узенькому коридорчику с деревянными крашеными ступеньками вошли в полутемную переднюю и оттуда в кабинет. Кабинет и соседняя комната были завалены книгами, журналами, газетами. Пыль стиралась, видимо, редко. Пол подметался тоже не каждый день. На столе лежали ворохи писем. Письма же были разложены по маленьким отделениям в двух громадных сосновых некрашеных шкафах с какими-то ярлычками... Стулья занимали большие папки с вырезками из газет, наклеенными на белые листы газетной же бумаги.

«Экономит даже на бумаге — эту ему приносят из типографии», — подумал Арсений. Искал глазами пишущую машинку, но ее не оказалось. Никого в кабинете больше не было. Тоже и в соседней комнате. Не было подходящего места не только для десяти секретарей, но даже для одного, самого завалящего. Ясно было, что Альфа работает один и никаких секретарей у него нет.

Посреди письменного стола лежала неконченная статья — длинные полоски бумаги, исписанные мелким бисерным почерком. Эти рукописи Альфы Арсений видел и раньше в редакции — все их знали. Альфа писал на листках такой ширины, чтобы как раз выходила газетная строка. Рукопись была почти без помарок и все знали, что Альфа мог по любому вопросу написать именно столько строк, сколько подходило для такой статьи — сто, сто восемьдесят, четы-

реста пятьдесят, сколько угодно. Всегда статья была цельная и законченная, и читателю казалось, что именно здесь она и должна заканчиваться и что по этому вопросу нужно сказать именно столько...

* * *

Как будто отвечая на ищущий взгляд Арсения, угадавши его мысли, Альфа сказал:

«Мне помогает только жена. Читает корреспонденцию... Я получаю очень много писем. Все остальное делаю сам».

«Я не вижу у вас даже пишущей машины», — сказал Арсений.

«Давно собираюсь научиться, но все некогда», — просто ответил Альфа.

«Он в конце концов милый и простой человек», — подумал Арсений. — «Это только в редакции он кажется таким колючим и холодным...»

Сказали еще несколько незначущих фраз и потом Альфа сразу подошел к делу: у него было основание приглашать Арсения.

«Арсений... Павлович кажется?» — Арсений кивнул головой. — «Я о вас много слышал. Считают вас коммерческим талантом и очень опытным, несмотря на то, что вы так молоды».

«До таланта далеко, а некоторый опыт действительно есть», — полушутливо ответил Арсений.

«Так говорят... Люди серьезные говорили. Говорят, что вы из ничего быстро создали капитал, а между тем ни в каких некрасивых делах вас не обвиняют».

«Сегодня мне удивительно везет», — подумал Арсений. — «Он говорит о коммерческих делах, о том, что мне нужно...»

* * *

Альфа рассказал откровенно, что у него есть триста тысяч рублей, которые он скопил, и он не знает, куда их поместить. До сих пор держал в государствен-

ной ренте, но это дает слишком мало... Говорят, можно поместить гораздо выгоднее и не менее сохранно. Как?»

«Любой банк, Николай Николаевич, даст вам самые выгодные указания и, пожалуй, — нет не пожалуй, а наверное! — гарантирует вам самое выгодное помещение капитала в какие нибудь свои акции».

«Я к банкам не хочу обращаться».

«Что я могу вам посоветовать?.. У меня есть приятель банкир. Когда я у него, помню, просил совета, какие акции купить, он пожал плечами и сказал: все хороши и все плохи... Единственное, что я могу для вас сделать — вот моя записная книжка! Смотрите, что я сам покупаю. Очевидно, я это считаю самым лучшим... Но тоже могу ошибаться — биржа есть биржа... Вам, Николай Николаевич, я могу тоже показать свою записную книжку...»

«Акции, вы думаете?.. А если будет война?!»

«Разве возможна война?»

«Возможно все, хотя процент вероятия и мал».

Арсений рассказал об акциях английской компании и о той концессии, которую предстоит в ближайшие дни рассмотреть Совету Министров. Альфа уставился в него своими острыми серенькими глазками. Было ясно, что он понимает, в чем дело. Может быть даже он понял уже, что Арсений нарочно приехал сюда и искал с ним встречи... «Тем лучше. С умными никогда не надо хитрить... Надо только чтобы интересы были общими. И то, что нельзя говорить прямо, надо оставлять между строк...»

* *
*

Арсений ехал от Альфы чрезвычайно довольный. Решил ни в каком случае не рассказывать Грабельщикову, как он это сделал.

Острый многозначительный взгляд Альфы, когда Арсений заговорил о концессии, остался ярко отпечатанным в мозгу.

«Очевидно, он все понял... Может быть, догадался даже, что тут замешана Манечка?.. Но он не может, вероятно, понять как это я выходил с вокзала, зная, что он ежедневно уезжает в Петербург. Ведь если бы он действительно уезжал, для меня было бы невозможно поехать с ним вместе и поговорить дорогой... Его ум работает остро, он несомненно заметил эту мелочь. От мелочи часто все зависит... Он не знает, что я и сам этого не предвидел, что вышло случайно... Считает меня вероятно очень хитрым и ищет объяснения, как я узнал, что именно в этот день он не собирается ехать в Петербург!.. Старается, вероятно, припомнить, не говорил ли он об этом курьеру и, может быть, тот рассказал мне... Так или иначе этот случай мнения Альфы обо мне не ухудшил! Он любит острых людей... А с моей стороны было не остро, а глупо! Так нередко люди создают себе ореол умности по недоразумению... Впрочем, ореол умности надо обновлять все время и подкрашивать, иначе краска быстро слезает... Пока не наложено много слоев...»

Арсений так задумался, что не слышал, как поезд подошел. Уже стоял у платформы финляндского вокзала, а он все еще сидел в купэ.

* * *

Случилось именно так, как Арсений ожидал.

Через три дня, как раз накануне заседания Совета Министров, в «Русской Газете» появилась большая статья Альфы «О развитии современных городов». Интересно, как всегда, написанная и как будто никакого отношения к концессии не имеющая. Но было несколько строк, прочтя которые Грабельщиков потирал руки и настойчиво приставал к Арсению:

«Как вы это сделали, чорт возьми? Угощаю ужином у «Медведя», только расскажите... Из вас толк выйдет — я давно говорил».

В этих десяти строках говорилось о том, что постройка пригородных железных дорог выгодна муниципальным управлениям даже в тех случаях, когда сама концессия невыгодна... Прилегающие земли настолько увеличиваются в цене и доходы от обложений так возрастают, что можно примириться даже с невыгодностью самой дороги и с участием в ней иностранного капитала, если нельзя найти своего...

Эти дороги дают возможность населению жить в более здоровых и приятных гигиенических условиях... В частности, под Петербургом, они ведут к засыпке болот, поднимают уровень местности, оздоравливают не только этот район, но и весь город...

* * *

На следующий день Арсений спросил Войтинскую:

«Ты узнавала? Альфа спрашивал что-нибудь у Кащеева?»

«Да, спрашивал и тот ответил утвердительно... что он действительно интересуется этим делом...»

«Умница ты у меня!.. Значит, я не даром дал тебе сорок тысяч. Это совсем не сорок, а по крайней мере восемьдесят, потому что акции будут сразу стоить вдвое».

«Но себе ты наверное оставил сто восемьдесят» — засмеялась Манечка.

«Разве мой мозговой изворот не стоил этого?»

«Стоил, стоил, моя дрянь полосатая».

VII.

КАЩЕЕВСКИЙ ЦЕХ.

Вчера в редакции Кащеев-сын сказал:

«Завтра на скачках будет весь мой цех.»

Арсений знал, что своим цехом Кащеев называет «девочек» Петербурга. Кащеев был приятелем со всеми наиболее шикарными, со всеми был на «ты». Со своей женой он давно уже не жил, хотя между ними сохранились дружеские отношения. Он бывал у нее и она с детьми часто гостила в имении у матери Кащеева, с которой тоже давно уже не жил старик Кащеев. Теперешняя метресса Кащеева-сына, фарсовая актриса, которую весь Петербург знал под именем «Женички», не мешала Кащееву в его цеховых обязанностях. Он шутил, что обязан время от времени вывозить свой цех. Когда его цеховые ссорились, на нем лежала обязанность мирить их: для успешной работы цеха необходимы благопристойность и мирные отношения!..

Несмотря на умиротворительное влияние Кащеева всетаки его цеховые иногда сцеплялись:

«Женщины и попугаи непременно ссорятся, когда их оставляют одних», — говорил он.

* *
*

Арсений решил поехать завтра на скачки. Лошади его нисколько не интересовали. В тотализаторе он не играл, учитывая, что у него нет никакого шанса выиграть. «Десять процентов берет себе тотализатор, значит — если десять раз поставить, то ничего не останется... Выгоднее играть в клубе в «девятку», там обстановка гораздо приятнее. Он бывал довольно часто в одном из «высокопоставленных» клубов Петербурга и пользовался там симпатиями, потому что привозил всегда дорогие сигары, по два с полтиной штука и угощал ими. Если бывал изредка и на скачках, то только чтобы посмотреть публику. Он хотел

видеть цех Кащеева, и было еще одно курьезное основание: ему нравился серый сюртук с серым цилиндром, как носят на скачках шикарные англичане. Такой костюм в Петербурге был необычен даже на скачках, а в иное место его совсем нельзя было надеть; Арсений всетаки заказал, у лучшего портного. По его же собственному мнению это было глупо, но тут, как часто в других случаях, он действовал под влиянием своего афоризма: «самое умное — делать иногда глупости».

* *
*

В этом сером сюртке и сером цилиндре, с большим спортивным биноклем через плечо, он приехал на скачки. Обошел главную трибуну, но Кащеева не было. Уже пожалел, что приехал — ехал специально, чтобы посмотреть его среди цеха.. Спросил лакея, здесь ли Кащеев. Все лакеи знали Кащеева: он часто только подписывал счета, но на чай всегда давал наличными и щедро. Счета потом оплачивали в конторе газеты.

«Они-с здесь», — ответил лакей. — «Они-с с дамами сидят в беседке».

Беседкой называлась боковая пристройка около входа на ипподром. Пошел туда. Вся компания оказалась в сборе. У Кащеева в этот день не было денег, у него были расчеты на Арсения и он встретил его приветливо.

«Аристархов! Однако, вы сегодня шикарны, ха-ха-ха...»

«А что, разве плохо?!» — смеясь, спросил Арсений. Ему не нравился покровительственный тон Кащеева. Кащеев никогда не упускал случая подчеркнуть, что он старый петербуржец, а Арсений еще новичек, из провинциалов.

«Наоборот, вам с вашим высшим светом необходимо одеваться по правилам».

Сам Кащеев одевался всегда небрежно, нарочно это подчеркивал.

* *
*

Компания оказалась отборная. Кащеев был уже на взводе. Кроме Женички тут собрались еще пять видных представительниц петербургского полусвета. Самой красивой была Нинон. Она себя назвала когда-то только Нинон, но другие ей прибавили «де Ланкло» и под этим именем она теперь известна была в Петербурге.

Рядом сидела молоденькая Сахарет, только что появившаяся на горизонте испаночка. Она носила такую прическу, как когда-то настоящая Сахарет. Ни слова не говорила по русски и чуть-чуть по французски. Рядом с ней сидел Джими. Сахарет была в восторге, что встретила, наконец, говорящего на ее родном языке.

Про Нинон говорили, что ее происхождение «темно и непонятно, как история мидян», но кто-то уверял, что она родственница Джими. С Джими она была на очень дружеской ноге. Через него делала какие-то дела. Или он через нее. Ее считали самой богатой из демимонда.

* * *

Маленькая Жижиль все время вставала, подходила то к одной, то к другой и что-то по секрету говорила. За глаза ее звали «Мопсик» за ее рост и маленький носик пуговочкой и еще за то, что она моментально сердилась, сразу вспыхивала от всякого пустяка, наседала и скандалила. Всегда совсем неожиданно. Голос тогда у нее вдруг становился густым и громким, она размахивала ручонками, наскакивала вплотную. Не только подруги, но самые большие мужчины, и по росту и по социальному положению, сторонились и отступали...

Через минуту вспышка проходила. Она была еще ласковей и приветливей и со всеми целовалась. Иногда даже плакала потом от умиления, шморкала курносеньким носиком и по детски, верхом ладони, вытирала его. Совсем так, как делают на сцене провин-

циальные актрисы, изображая пейзанок, у которых нет носовых платков.

Всех мужчин она считала своими. Они над ней подтрунивали, но мало кто не прошел через ее ручки. И раз это случалось, Жижиль уже на всю жизнь переходила на «ты» и, встречаясь, непременно окликала по имени. Обращалась, как с ближайшим родственником, даже в присутствии еще чужих мужчин. «Сегодня чужой, завтра будет свой — все равно.» Зато приличных женщин она глубоко презирала и в их присутствии не замечала мужчин, даже и совсем своих. Тогда она проходила, как мимо пустого места...

Все это знали. Знали, что Жижиль никогда не скомпрометирует, и за это ее любили.

Тут собрались блиставшие своей внешностью. Она была самая некрасивая, но наибольшее число мужчин было у нее. Однако финансовые ее дела были всегда не в порядке — она раздавала деньги налево и направо. Подруги знали, что, если придти к Жижиль и поплакать у нее на груди, можно взять все до последней копейки. Были случаи, когда этим пользовались даже мужчины.

* * *

Самой известной среди присутствовавших была всетаки Китти, наиболее образованная и остроумная в этой компании. Она была авторитетом не только в цехе, но и в мужских компаниях. Нередко осаживала мужчин едкими замечаниями. Ко многим прилипли ее меткие словечки. Несмотря на не столь уже молодой возраст, она пользовалась большим успехом. В нее был влюблен один петербургский сановник и в своем кругу знали, что она все больше забирает его в руки, что он собирается на ней жениться.

Китти вообще считала себя выше этой компании, редко встречалась с остальными и попала сюда только из-за Кащеева.

Еще были — болтливая, глупенькая Спеть, состоящая при одном из гвардейских полков, и Настя-Чертенок, которую во время ужинов подавали голую на блюде и про которую Грабельщиков говорил, что она хорошо работает на бирже.

Рассказывали скабрезный анекдот о том, как получилось имя «Спеть». Настя сама всем говорила, что она дочь лакея от Донона, что ее родители уже старики и она им помогает. По этому случаю она просила всегда лишних десять рублей. Или двадцать пять — смотря по человеку. Наивная откровенность Насти располагала к ней. Но иногда на нее находило важное настроение и тогда она строила из себя grande dame: чтобы не злить ее, окружающие принимали это всерьез.

* * *

Джими подливал то в один бокал, то в другой. Сам он пил мало. Это уже в прежние встречи заметил Арсений. Кащеев рассказывал в редакции, что, когда нужно, Джими может выпить сколько угодно, но никогда не пьянеет. Перед тем, как нужно кого-нибудь «перепить», он будто бы делает себе какое-то впрыскивание и после этого алкоголь не действует.

Оказалось свободое место рядом с Нинон. Арсений знаком с ней не был, но здесь представлений не требовалось. На особом положении была только Китти — ей надо было представлять, как полагается светской даме.

Спеть заказала еще порцию мороженого. Сахарет тоже.

«Это что, по третьей?!» — спросил Кащеев. — «Непорядок. Женщины должны пить шампанское и есть горячее, чтобы действовать на мужчин возбуждающе, а от мороженого замерзнет и то, что есть».

Все засмеялись, кроме испаночки, ничего не понимавшей.

* * *

Нинон сразу насела на Арсения.

«Почему ми раньше не были знакомы?» — быстро затараторила она, симпатично коверкая русские слова. — «Я знаю все шикарные мужчины Петербурге, а вас не зналя. Я вас виделя два раз с красивой блондинок, такие большие глюбокие глязы. Ошень интересная...» Высшая школа демимонда, также как и английское воспитание, предписывает говорить только приятное.

«Как у старика Кащеева», — подумал Арсений и улыбнулся. Нинон решила, что это он улыбается комплименту его даме.

«Ви редко бивает на скачки. На бегах ви тоже мало бивает?.. А где ви завтракает?..»

Арсений только успевал отвечать.

«Только пошляки интересуются телом женщины... Главное душа... Но ход в душу через тело», — сказала Китти, отвечая на какой-то вопрос Джими.

Все засмеялись.

«Ломается... Скольким и сколько раз она это говорила? Где-то вычитала», — подумал Арсений. Однако, ему фраза тоже понравилась.

* * *

«Играете, Аристархов?» — спросил Кащеев.

«Нет, я в лошадях ничего не понимаю.»

«Это я знаю, что ни черта̀ не понимаете! Я помню, как вы не знали что такое гандикап, а гнедая лошадь для вас светло-коричневая... Вороную наверное черной зовете? Сейчас главный приз, играйте на манташевских, заработаете в ординаре в пять раз.»

Арсений попробовал отказываться, но Кащеев настаивал.

«Верные деньги», — говорил он. — «Какая вы жила, Аристархов. Боитесь сто рублей выпустить из рук».

Арсений думал, что надо поставить двадцать-тридцать рублей, а Кащеев назвал сто. Это совсем не подходило. «Зачем зря выкидывать сто рублей?»

Кащеев подозвал лакея и передал ему деньги на билет.

«Дайте, он и для вас купит».

Арсений не дал.

«Лучше я сам куплю. У меня такая примета».

Он встал из-за стола и вышел из беседки.

«Покупать глупо», —думал он, — «но выходит действительно так, что я слишком трясусь над ста рублями».

Поднимаясь по лестнице на трибуны, он увидел на ступеньке пачку билетов. Кто-то бросил, проигравши, билеты прошлого заезда. Он поднял их. Оказалось как раз десять.

«Купили?» — спросил Кащеев, когда Арсений вернулся обратно.

«Купил», — солгал он и показал издали пачку билетов, подобранных на лестнице. Цвет билетов был не тот, но Кащеев не обратил внимания — он был уж совсем пьян.

* * *

Лошадей пустили. Через несколько минут прибежал лакей и радостно сообщил, что манташевская пришла первой, в ординаре дают 27.

«Говорил я вам... Видите, выиграли!» — сказал Кащеев. — «Эх вы, не умеете деньги наживать... Прошу нас чествовать... Я, как бордельный староста, всех приглашаю...»

Арсений чувствовал себя глупо. Но отказываться было неудобно, раз все думают, что он выиграл.

«Хорошо, едемте к Донону, я плачу».

Почему он назвал именно Донона, а почему не согласился угощать здесь, сам не знал. Просто, чтобы не следовать указаниям Кащеева: его постоянное командование всегда казалось оскорбительным, но ссориться с ним не хотел: — газета есть газета.

* * *

К столу еще подошли. Один из них был Оконин.

«Оконин, здравствуйте! Присаживайтесь», — пригласил Кащеев. Оконин был знаком со всеми. Он сделал только общий поклон, не здороваясь за руку.

Даже к Арсению не подошел. Но Арсений не удивился.

«Оконин должен быть странным».

Впрочем дня два назад виделись. Завтракали у Кюба. Оконин недавно вернулся из-за границы и жил теперь в Москве. На несколько дней приехал в Петербург.

Встретились после стольких лет совсем не так тепло, как можно было ожидать...

Оконину сейчас же налили бокал. Он выпил только один глоток. Лакей подбежал, чтобы принять заказ.

«Прикажете что-нибудь покушать?»

«Кислой капусты...»

Лакей удивился, не понял сразу, шутит барин или серьезно. Переспросил:

«Кислой капустки прикажете?»

«Да... И сахару мелкого...»

«Не могу знать. Теперь уж капустка проходит, скоро новая будет. Побегу узнаю...»

Кислой капусты не оказалось и вместо нее лакей принес по инициативе буфетчика солёный огурец.

* * *

«Играете?» — спросил Кащеев.

«Сам не играю, но люблю, чтобы играли другие», — ответил Оконин. Он сделал знак лакею, вынул из бумажника сто рублей и приказал купить № 7 на следующий заезд в ординаре, семь билетов.

«Почему седьмой? Он не имеет никаких шансов», — удивился Кащеев.

«И почему семь билетов?» — спросила Китти.

«Надо пробовать всегда самое невероятное», — ответил Оконин. — «В числе семь скрыто много таинственного».

Лакей принес билеты. Оконин роздал по одному дамам и один лакею на чай. Дамы не отказались: наоборот, были очень довольны и наперерыв одна перед другой стали разговаривать с Оконином.

Случилось самое невероятное — № 7 пришел первым и выдавали в ординаре 155 за 10!.. Дамы были в восхищении.

«Вы мне нравитесь, Оконин, хотя мы с вами и конкуренты», — сказал Кащеев. — «Пью ваше здоровье».

Оконин отпил опять маленький глоток, встал и подошел к Джими. Что-то тихо сказал ему и они вдвоем отошли от стола.

Оставался только один заезд. Кащеев заявил, что пора ехать:

«К Донону, так к Донону».

Арсений про себя сосчитал, во что это может обойтись. У него в кармане было двести с чем-то рублей. Ему не хотелось оставаться должным в ресторане. «Надо так, чтобы хватило...»

* *
*

В лимузин к нему попали Нинон и Сахарет. Всех других забрал в свой большой открытый автомобиль Кащеев. Оконин и Джими исчезли, но Джими обещал Кащееву приехать к Донону попозже.

У Донона не клеилось. Женичка еще на скачках надулась за то, что Кащеев пил из бокала Насти, тут она придралась к какому то его замечанию и начала ссориться. Ее поддержала Жижиль. Поднялся крик. Кащеев еще что-то сказал, тогда Женичка ловко и быстро сняла туфлю и ударила его подошвой по лицу. В это время вошел Джими: при его участии инцидент был улажен, но всетаки общее настроение упало и решили ехать по домам.

Теперь Арсению пришлось развозить всех дам, за исключением Женички, — она, ругаясь, всетаки уехала с Кащеевым, — и Китти, которую два раза вызы-

вали к телефону и она должна была куда-то ехать одна.

Адреса говорила шофферу Нинон. Вышло так, что она оказалась последней. К ней приехали уже в двенадцатом часу. У нее была своя квартира, вход прямо с улицы, без швейцара и переулок очень тихий. Удобно для тех, кто не хотел, чтобы его видели. Арсений колебался, ехать домой или зайти к Нинон. Нинон вышла, не прощаясь, из автомобиля. Отомкнула дверь и обернулась к нему. Нужно было вылезти — уехать было неловко. Если бы была только эта неловкость, он уехал бы, но Нинон была красива и было выпито много шампанского.

* * *

Вошли в квартиру. Нинон вышла в соседнюю комнату и быстро вернулась в шелковом голубом пеньюаре. Без всяких околичностей села к Арсению на колени и обняла его.

«Ти милий», — она перешла на «ты» еще дорогой, — «снимай сюртюк... Я могу помять, я тебе помогай».

Арсений снял сюртук, но остался в жилете. Снимая сюртук, он подумал о Глаше, но мысль о ней не являлась препятствием — скорее наоборот. «Близость с другой случайной женщиной только усиливает потом чувство к своей, настоящей, любимой...» Опять мелькнуло: — «А люблю ли я ее? или это только временный каприз?»

Ему не нравилась беззастенчивость Нинон, но она была красива. Теплое эластичное тело, блестящие немного пьяные глаза, запах сильных духов и женского тела.

«Только зачем она так накрашивает ногти?» — подумал он.

Нинон обнимала его одной рукой, а другой вытащила бумажник из лежавшего рядом сюртука. Раз-

вернула и стала считать деньги. Там было всего сто тридцать рублей.

«Ти не имеешь больше?.. Ничего, ти мне завтра присилаешь еще семьдесят».

Арсений решил отвечать ей в тон:

«Почему двести? Разве сто мало?»

Нинон даже подпрыгнула на коленях.

«Ти видаль, как ликушки пригают?» — и она при этом пальцем оттянула нижнее веко у глаза и скосила его. Вышло очень смешно.

«Что значит лягушки прыгают?» — сделал Арсений вид, что не понимает.

«Что значит!.. что значит!.. Меньше, как триста, я никогда не полючаля. Самое маленькое триста. Только для тебя двести, потому что ти милий... Квартира стоит триста, компаньонка триста, горничная сто, завтрак и обед пятьсот... Ти знаешь, сколько стоит так одеваться, как я... Ти даже не можешь подумать, сколько стоит...»

Арсению особенно понравилась ее «ликушка», что-то милое и детское было в этом. На вступительном экзамене в приготовительный класс он сам написал в диктовке вместо «лягушка» — «ликушка» и потом над ним долго смеялись за эту «ликушку».

«Хорошо, я пришлю завтра еще семьдесят рублей...»

* * *

Пеньюар Нинон все сползал и обнаженная, теплая она прижималась к нему. Бретелька шелковой рубашки съехала с плеча. Его рука протянулась к ее груди, еще затянутой в лифчик. Прикосновение пробежало острой, приятной дрожью. Он стал торопливо растегивать лифчик, оторвал сзади пуговицы. Его губы тянуло к ее груди... В полумраке красного абажура было почти не видно, но прикоснувшись уже рукой, он ощутил на груди какую-то шероховатость, может быть, маленький прыщик. И вдруг отстранился. Молнией мелькнула в глубине сознания мысль о Бегиче.

Дрожь пробежала по телу. Еще тоже мелькнул на мгновенье недавний разговор в мужской компании: говорили откровенно и выяснилось, что не только у него одного, а у многих жив постоянно этот страх...

«И сколько еще знакомых уже так погибло...»

И всетаки рядом была молодая, красивая женщина, и было выпито много шампанского, и возбуждение боролось с этими мыслями. Всего несколько моментов, может быть, одну-две секунды... Он наклонился вплотную к ее груди и при слабом красном свете рассмотрел какие-то бугорки, может быть, просто прыщики, такие естественные и обыкновенные, совсем невинные, запудренные...

«А может быть это сыпь?»...

* * *

Он стал что-то говорить, а между тем тихонько отстранил ее от себя. Встал, как бы за чем то на столе. Потом поднял съехавший на ковер свой сюртук, бормоча: «Совсем забыл... совсем забыл — мне надо послать срочную телеграмму...» Через несколько минут уже прощался с Нинон. «Она должна быть возмущена», — думал в это время. Выходя из подъезда ждал, что она его сейчас вдогонку выругает. Но этого не случилось.

Севши в автомобиль, он облегченно вздохнул. Казалось, должно быть неприятное чувство, осадок, а было как раз наоборот — приятное сознание, что ему доступна любая из этих шести красивых женщин, может быть самых красивых в Петербурге, что у него право выбирать их и, если он отказался, то потому что так сам захотел... «Это дают деньги... деньги...»

Он вспомнил о бумажнике, вынул его из кармана — пусто! Все сто тридцать рублей забрала Нинон. Ему не было жалко их. «В конце концов ей следует за бесчестье!» — подумал он и улыбнулся. Даже нагнулся к зеркалу в автомобиле, чтобы посмотреть на

выражение своего лица, и увидел там свою собственную улыбающуюся физиономию...

Опять вспомнил о «ликушке» и к Нинон у него было хорошее, теплое чувство.

* * *

Оказалось, что Нинон совсем не обиделась. Когда через несколько дней встретились у «Медведя», она поздоровалась с ним, как со старым приятелем. Гораздо любезнее, чем раньше. Как ни как сто тридцать рублей остались у нее! Это деньги... Она уже успела рассказать о том, что произошло у нее с Арсением двум своим подругам, а те еще мужчинам. Нисколько не стеснялась подробностей.

В редакции уже знали, как Нинон нажгла Аристархова на сто тридцать рублей...

VIII.

ВОЙНА ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ...

Арсений часто ездил за границу. Бросал все и уезжал.

Однако, ни разу не жил в курорте. Там ему было противно. Попал как-то в Висбаден и в тот же день вечером заказал билет в Мадрид. Почему в Мадрид? — сам не знал. Под влиянием чего-то прочитанного...

«Как люди могут жить здесь месяцами? Ежедневно ходить на музыку в кургауз, ежедневно видеть те же физиономии, ежедневно пить натощак дрянную воду... Какая нужна наивность, чтобы верить, будто эта вода помогает от всех болезней...»

Он ездил без цели. Уже два раза был в Америке.

«Зачем я езжу?» — несколько раз задавал себе вопрос. И опять ехал.

«Путешествие в конце концов окупится. Или деньгами, или образованием...» — сложилось у него убеждение.

* * *

Америка тянула своей грандиозностью, размахом. Кто-то назвал его: «русский американец» — это ему понравилось.

Но ему было жутко там: страна бога-доллара, холодной безжалостной машины, страшной борьбы за существование... Борьбу эту он больше угадывал, чем видел: в роскошных отелях ее наблюдать было трудно.

Один только раз он почувствовал ее вплотную, хотя ровно ничего не случилось.

Выйдя из «Плазы» в «Центральный Парк», он зашел на площадку, где стояли скамейки. Был душный, тяжелый, как железо, нью-иоркский вечер. Солнце уже село, но было жарко: все заполнила давящая влажная жара. Шуршали автомобили. Вдали глухим, железным гулом гудел город. Рядом, в зверинце парка тоскливо стонал зверь...

На скамейках сидели люди. Мужчины, женщины. Старики, молодые... Но у всех была одна общая черта: сидели молча, смотря вниз на цементированную дорожку, сжавшись, точно их сдавило этим железным воздухом. И слева, и справа парк упирался в каменные громады. Тяжелый камень, тяжелое железо, тяжелый воздух, тяжелая цементированная дорожка и даже деревья тоже тяжелые, точно и они железные...

Некоторые собирались тут ночевать. Не ночевать, а дремать несколько часов: под утро прогонит полицейский обход...

* * *

Темнело.

Душно было по-прежнему, казалось, еще душнее. Зверь в зверинце перестал стонать, но город все гу-

дел. Теперь в этом гуле чудились стоны... Один из сидевших рядом встал и пошел из парка. Вернулся и нерешительно пошел в другую сторону.

«Ему некуда идти!» — мелькнуло у Арсения. И вдруг стало жутко от одиночества; он представил себя на месте этого человека. «Почему люди такие чужие друг другу?..»

Рядом, сейчас за «Плазой», стоит роскошный красный дом с синими шторами. Сколько раз он ни смотрел на него, всегда окна наглухо были затянуты синими шторами.

«Что это за дом?» — спросил «боя» в «Плазе».

«Вандербильда, сэр».

«Почему в нем никто не живет?»

«У Вандербильда сто домов, сэр», — ответил бой, — «живет тут иногда две недели...»

«Восемнадцать человек прислуги всегда живут в доме», — добавил еще бой, получивши «квортер». В Америке нельзя разговаривать даром — Арсений знал уже это.

«Не сто, понятно, но много... Может быть, двадцать дворцов, как этот», — подумал он тогда и вслед сейчас же пришла мысль: — «Могу ли я когда-нибудь быть так богат?.. Возможно ли это?..»

* *
*

Но теперь, в парке думал другое — простое, ясное, примитивное, но редко занимавшее его мысли и потому новое для него.

«Там пустой, роскошный дворец, а этим людям негде ночевать... Почему они не идут туда, не кричат, не требуют?.. Ведь их много, миллионы... Если бы сразу пришли все, никто не мог бы помешать...»

Ему представилось, как толпы запрудили Пятое Авеню и ломятся в роскошные особняки. Заполнили залы отелей, бьют зеркальные стекла и грабят миллионные витрины ювелиров... Толпа напирает на железные двери банковых громад, выстрелы, крики, гул,

взрывы, и двери банков уступают — толпа хлынула внутрь... И тогда ему, Аристархову, тоже нет спасенья... Он сметен толпой, раздавлен, убит — он враг ее, и она это знает...

Небрежной, но важной походкой, с коротенькой палкой, косясь на сидящих, прошел по дальней дорожке полицейский...

И картина исчезла.

* * *

«Это будет когда-нибудь... Пока я живу — этого не случится. Полицейский — вот символ современного мира. Банки — его храмы, и Вандербильд — верховный жрец. И надо быть ближе к Вандербильду, чтобы иметь миллионы, чтобы тоже быть одним из жрецов...»

Он вспомнил — кто то из своих, в детстве, говорил: «Ежели за грибами идешь — иди в грибные места; ежели за деньгами — норови поближе к денежным людям».

...Вечер в Центральном Парке врезался в сознание. Ничего не случилось, было душно, и люди пришли сидеть в парк из железно-каменных щелей города и, усталые, естественно сидели поникши. Но это врезалось в память в особой окраске, с особым значением.

* * *

Лет десять назад, где-то на улице, Арсений видел: шел со стариком большой, черный пудель, и навстречу маленький мальчик, весь в красном, с нянькой... Он подбежал к незнакомому пуделю и обнял его и ни за что не хотел уходить, и пудель тряс стриженым с помпоном хвостом и ластился к мальчику, и тоже не хотел уходить. И так было красиво и трогательно — большой черный пудель и красный мальчик с помпоном на шапочке... Остро врезалось в память.

Почему-то сейчас вспомнились пудель и мальчик, и рядом с этим ничтожным эпизодом, по капризу сознания, лег в мозг этот вечер с людьми, которым некуда идти.

«Что общего?» — не мог решить Арсений, входя в ярко освещенный, роскошный холл «Плазы». Налево, в ресторане играл оркестр. Проходили некрасивые, но ароматные женщины, в ярких манто, опушенных мехом, и мужчины во фраках.

«Мех в такую жару?! Жертвы моды...» — сменился ход мыслей.

Был взят уже билет, через Ниагарский водопад, в Детройт, «город автомобилей». И дальше, в Чикаго...

* *
*

Арсений был первый раз на Ниагаре. Но это чудо земли не захватило его. Природа на него мало действовала. Он не любил книг с описаниями природы. Его интересовали движения души, мысль. Искал ярких парадоксов. Кристалликов мысли, которые запоминались, заставляли думать — по ним мысль потом работала иногда годами... Они обогащали мозг — как неугасимые лампады они теплились потом в тайниках мозга всю жизнь. Делали жизнь уютнее...

Пробывши несколько часов на Ниагаре, поехал на пароходе в Детройт. Хотел посмотреть знаменитый завод Форда. Пользуясь рекомендациями «Русской Газеты», это легко устроил.

Арсения-дельца захватила эта колоссальная машина для деланья денег. Внушила божественный трепет перед могуществом капитала. Арсению-мечтателю стало жутко при виде тысяч людей, превратившихся в автоматы, привязанных на всю жизнь к бесконечной громыхающей цепи. Что, если бы пришлось самому быть таким рабом машины всю жизнь?!.. Особенно ужасной казалась эта бесконечная лента, это однообразие и расчитанность. Всю жизнь на винте или

трубке. Нет радости творчества, нет радости видеть результат своей работы...

Он вспомнил, как рассказывали о самой страшной работе на каторге: заставляют перевозить кучу земли на другое место, а на завтра — обратно ту же кучу. От такой работы сходят с ума.

* * *

У Форда познакомился с американским журналистом. Ехали вместе обратно.

«Форд делает самые дешевые автомобили, а вот на этом заводе—самые дорогие в мире»,—указал тот.

Решил осмотреть и этот завод. Администрация любезно прислала громадную машину с шофером, похожим на директора. Один из директоров лично показывал завод, потом пригласил поехать вместе в загородный заводский клуб. Директор сел к рулю, и машина плавно, бесшумно, точно вся резиновая, понеслась по асфальтовому шоссе. Арсений восхищался: никогда раньше не ездил на этих автомобилях.

«У нас, в России, нет ни одного вашего».

«Да, мы в Россию еще не продавали».

Директор, польщенный комплиментами, вдруг свернул на паханое поле, и автомобиль так же плавно пошел по свежей пахоти.

После ужина и коктелей, молча возвращались обратно. Директор вдруг спросил:

«Вы знакомы с царем?»

«С царем?» — удивился Арсений. — «Нет, не знаком».

«А с его родными?»

«Знаком с тремя великими князьями», — засмеялся он, не понимая, почему это интересно американцу.

«Могли бы вы продать наш автомобиль царю?»

Арсений сначала принял как шутку. Но американец говорил серьезно. Было решено встретиться еще раз.

Проживши два дня в громадном отеле, засыпаемом ежедневно сажей, но так же ежедневно вычищаемом, Арсений уехал с договором. Ему передавалось представительство на Россию на пять лет, если первый автомобиль фирмы в течение полугода будет продан царю, в императорский гараж.

«Я ничем не рискую», — думал он, — «а может и выйти».

* * *

Это было за год до войны. Еще до Глаши.

В Петербурге с продажей автомобиля быстро тогда устроил. Рассказал шутливо об этом договоре за обедом великому князю, тот охотно согласился помочь, сам даже предложил:

«В императорском гараже пятьдесят два автомобиля, — почему не быть пятьдесят третьему!..»

Через несколько дней получился заказ.

Арсений заранее сказал, что от всякого заработка, понятно, отказывается, скинул всю свою скидку — двадцать пять процентов.

«И даром бы отдал, лишь бы официальный заказ был...»

Телеграфировал сейчас же в Детройт заверенную американским консульством копию заказа и завод подтвердил, что договор вступил в силу...

Еще продал другим штук десять. Уже нанял большой склад и служащих...

* * *

Теперь опять был заграницей. Глаша уехала на лето к родителям. Без нее было в Петербурге тоскливо.

Поехал в Монте Карло. И там застала война...

Приехал туда на несколько дней из Парижа в самое пустое время, когда отели заколочены, когда никого нет.

...Олеандры дышали истомой. Скрипка в кафе пела последнюю новинку Парижа. В казино было пусто.

Только профессионалы, жалкие и озлобленные, караулили по целым дням свой номер. От трясущихся старух пахло трупом, но было несколько молодых демимонденок с роскошным телом. Эти попали сюда в расчете на случай. У них не было туалетов для Трувиля или Экс-ле-Бэн. Вдруг, может быть, появится американец или русский с шальными деньгами...

Один появился, но со своей дамой. Американец. Он играл, как безумный, засыпàл номера максимумами, срывался вдруг, бежал в отель, пил ледяное шампанское и мчался в автомобиле вверх по Корниш, в горы.

Потом опять появлялся у другого стола... Ходили смотреть на него, рассказывали о нем фантастические истории. Инспектора и крупье кланялись издали, подставляли стул, считали за него деньги. Он совал их пачками, не считая. Давал по сто франков на чай.

* * *

К Арсению пристал русский, здешний. Конченый человек. Когда-то встречались в России. Сам говорил, что он конченый. Самарский купец, попавший сюда несколько лет назад. Все проиграл, все порвал с прошлым. Бывал в казино только по вечерам, всегда во фраке. Стащил у Арсения пятьдесят франков. Арсений заметил и потом сказал ему в упор.

«Да, стащил... Вам все объясню, и вы меня поймете... Зайдите, пожалуйста, ко мне домой, в пансион, все поймете...»

Арсения заинтересовало. Зашел на следующий день. На окраине Ниццы, в грязном пансионе, жило еще двое таких, как он. Австриец и грек.

«Шулера», — тихонько сказал он Арсению. — «Но хорошие люди, делимся последним су... А у меня, как видите, есть только фрак и вот этот халат. Днем выходить поэтому не могу...»

Арсений дал ему пятьдесят франков. Вечером он их проиграл.

Показал Арсению притоны Ниццы. Познакомил с русской парой. Сиреневая девочка лет шестнадцати и полный брюнет с золотым порт-сигаром.

«У них остался только этот портсигар, потом крышка... Он увез ее из дому, из Саратовской губернии. Помещичья дочка... Какой-то инспектор страхового общества, украл деньги и приехал сюда. Все уже прожили и проиграли...»

Девочка была со вздернутым носиком, с маленьким красивым ртом, беленькая, как из фарфора. Всегда в сиреневом. Арсению она понравилась, но русский во фраке предупредил.

«Не бывайте с ней вдвоем, а то он ее бросит, и она останется у вас на руках. Он только ждет случая... А то еще и в шантажное дело попадете — кто знает...»

* * *

16-го июля по русскому стилю была вывешена телеграмма:

«Австрия объявила войну Сербии».

И рядом с ней другая — опровергающая тревожные слухи.

С игорных столов вдруг исчезло золото...

В воздухе повисла тревога, хотя никто еще не верил в войну.

«Неужели обанкротится христианская культура? Неужели социалисты и миссионеры пойдут убивать друг друга?!..»

Среди этих мыслей вертелась и иная:

«Если втянут Россию, можно будет продать для войны несколько тысяч автомобилей. Это миллион долларов!..»

Арсений записал:

«Деньги делают войну. Война делает деньги».

На следующий день вечером сидел в парижском спальном вагоне. Телеграммы были все тревожнее.

«Из Парижа немедля же в Петербург... Однако, мысли о миллионе долларов привели меня в хорошее

настроение... Какой я подлец! Не я — все. Деньги делают войну, война делает деньги...»

В вагоне было душно, хотя сидел один в купэ. Воздух точно отяжелел, наполнился предчувствием чего-то страшного. В вагоне не было освещения, забыли или не хотели наполнить газовые резервуары. Но никто из пассажиров не заявлял протеста — будто так и нужно было.

* * *

Париж в панике. Война! Война!.. В войну еще никто не хочет верить, но она у всех на языке.

Исчезло золото. Все ищут золото, предлагают премию на размене бумажных денег. Золота нет. В знакомом банке разменяли тайком, в кабинете директора, три тысячи франков.

«Хорошо быть приятелем с директором банка».

Поехали за город на виллу директора, в Maison Laffitte.

Мчались в шестидесяти-сильном Рено среди туч пыли. Навстречу неслись другие. Обгоняли, обдавая пылью и бензиновым дыханьем машины. Казалось, что все мчатся бешено, потому что им страшно — сзади гонится война... Самая пыль была странная, точно расплывшиеся привидения, призраки войны.

Горничная встретила улыбаясь, но с заплаканными глазами.

«Полчаса назад звонили в церкви, объявлена мобилизация...»

Сейчас тишина. Где-то воет собака, и вдали рожок играет сбор. Мурашки бегают по спине от этого рожка.

«Неужели культурная, христианская Европа XX века в огне?!..»

Шоффер поехал за вечерними выпусками газет, но вернулся ни с чем. Киоски закрыты. Рядом сидят их хозяйки и плачут. Мужья, сыновья с поездом в 6.30 «уехали на войну»...

* * *

На вокзале ждал обратного поезда с десяти. Час, два — поездов нет. Мимо несутся освещенные поезда из Парижа, но поездов в Париж нет.

Платформы вокзала наполняются резервистами.

Приходят по одному. Группами. Рядом жены, матери. Женщина облокотилась одному на плечо и тихо плачет, вся дрожит от слез. Около другого старуха деланно смеется — ей хочется плакать, но нельзя это показать.

«В Берлин пить пильзенское», — шутят рядом.

«На двадцать четыре часа я обеспечен, а дальше придется пить мозель», — смеется солдат. Из кармана у него торчат две бутылки.

Ночь. Рожок вдали опять играет. Ползут жуткие тени. Жутко. Жутко людям, а кажется, что и природе...

«Деньги делают войну, — война делает деньги... Прочь это!.. Подло, безумно...»

* * *

Еще через день война была объявлена. Париж стал неузнаваем. Парижан охватила паника.

«Через десять дней «он» может быть уже в Париже...»

Бросились закупать провизию. Свечи, керосиновые лампы. У Потэна стояла тысячная толпа. Готовились к осаде, как в ту войну, в 1870.

Вдруг появился спрос на книги по истории франко-прусской войны. Арсений тоже ухватился за них. Чем больше читал, тем больше успокаивался. Теперь совсем не так: — все говорят, что мобилизация идет, как часовой механизм. А тогда Мишель телеграфировал из Бельфора:

«Не нашел моей бригады. Не нашел дивизионного генерала. Что делать? Где мои полки?..» Военное министерство телеграфировало Дуайи:

«Где вы находитесь? Где ваши полки? Немедленно отвечайте».

Теперь совсем не так. Паника была острой три первых дня. Потом стало утихать. Особенно популярны стали русские. Спрашивали со всех сторон:

«Как вы думаете, через сколько дней будет готова Россия?.. Лишь бы вы были готовы. Тогда уже не страшно... Русские, как гигантский каменный каток, покатятся на пруссаков. Лишь бы на несколько дней задержать «его»...

Не говорили — Вильгельм, говорили — «он».

* * *

Арсений поймал себя на мысли, что у него нет патриотического подъема. Несмотря на шовинистическую заразу вокруг.

«Люди обезумели... Вчера, братья, друзья — сегодня враги. Вчера говорили о вечных истинах, о завоеваниях нашей культуры — сегодня ищут самых хитрых способов уничтожить один другого. Уничтожить народы, государства...»

Зато в другие моменты думал:

«Война многих обогатит. Надо быть с ними».

Толпа разгромила несколько немецких магазинов. На многих закрытых появились надписи:

«Это магазин бельгийский».

«Владелец магазина американец».

«Владелец мобилизован».

Попал в толпу, когда громили немецкую булочную на каком-то бульваре.

Кто-то подошел к окну и выбил палкой зеркальное стекло. Сразу звон стекла наэлектризовал прохожих. Кучка стала расти.

Вдруг несколько бросились внутрь и стали ломать витрины, бить посуду. Выросла толпа... Каждую бутылку с молоком перекидывали осторожно с рук на руки в окно и разбивали с остервенением на мостовой. Другие топтали ногами сыр. Господин в черном сюртуке с ленточкой почетного легиона в петлице особен-

но свирепствовал — командовал, кричал, бил зонтиком осколки бутылок.

«Я выше этой толпы», — думал Арсений, — «я не могу заразиться этим звериным чувством. Дико. Противно... Люди христианской культуры — чего они стоят?»

* *
*

Театры закрыты. Большинство кафе — тоже. Нигде нет музыки. Полуосвещено. Движение замерло, улицы опустели. Вместо автобусов и такси поползли невиданные двуколки, рыдваны, рассыпающиеся коляски. Все годное взято на войну.

«Надо уезжать в Петербург... Скорее.»

Советуют подождать еще дня два, пока закончится мобилизация. Тогда пойдут поезда для всех. Надо ехать в Марсель. Оттуда ходят случайные пароходы в Грецию, в Салоники. Единственный безопасный путь. В Средиземном море нет немцев. Австрийский флот заперт.

«Англия вступила в войну!»

Общая радость. Угрозы «ему»...

«Он с ума сошел, воюет со всем миром.»

* *
*

В саду Пале-Руяль старик сторож собрал стайку воробьев и разговаривает с ними, как с приятелями. Они его знают. Совсем не боятся.

«На траву!» — командует старик. Воробьи летят на траву, и у него на лице расправляются морщины.

«На дорожку!»

Воробьи летят на дорожку.

«Теперь на войну, маленькие мерзавцы!»

Этой команды воробьи не понимают. Толпа смеется. Бросают су старику, а он крошки воробьям...

Тут же на дорожке играют дети. Два маленьких мальчика привезли на игрушечной тачке песок, насыпают его в жестяную коробочку и пекут булки.

Опять поехали за песком. По дороге катастрофа — у тачки свалилось колесико. Владелец тачки приготовился уже плакать, но другой стал уговаривать, посмотрел колесико, пососал грязный палец. Потом снял башмак, отвинтил перочинным ножиком винт от каблучной набойки и привинтил им колесико.

«Если таких французов много, немцы будут разбиты», — подумал Арсений. Вдруг успокоился.

Возвращался в отель по Рю де ла Пэ. Еще вчера это была самая шикарная улица. Сейчас по ней гнали громадное стадо коров. От Вандомской колонны до Оперы все заняли коровы! Никакого другого движения. Пешеходы боязливо жмутся к закрытым витринам. Погонщики перекликаются точно в Пиренеях. Протяжно-пронзительно кричит один в голове стада, — другие отвечают ему таким же непередаваемым звуком у отеля Риц.

«Европа сошла с ума! Крушение культуры...»

Опять пришло беспокойство.

Пошел послать телеграмму Глаше и домой деловую. Приняли только за тройную плату, обходным путем. С цензурой.

* * *

В первые же дни войны военное ведомство купило у его фирмы шесть тысяч автомобилей. Благодаря знакомствам Арсений получил копию заказа и, не вступая ни в какую переписку с фирмой, просто телеграфировал ей, чтобы ему кредитовали восемьсот девяносто две тысячи долларов комиссионных! Завод ответил, что не понимает в чем дело, никаких автомобилей он России не продавал. Арсений телеграфировал подробнее:автомобили куплены через Англию, но для России. Это все равно. За каждый автомобиль проданный в Россию он по §6 договора получает комиссию...

Завод отказался — теперь война, «форс мажёр», договор недействителен... Но в договоре никаких оговорок не было. Арсений послал еще десяток теле-

грамм, настаивал, пригрозил судом. Тогда завод ответил:

«Вопрос слишком серьезен для переговоров по кабелю. Просим вас приехать сюда. Все расходы за наш счет».

* *
*

Ехать теперь, во время войны, когда по Атлантическому океану плавали немецкие крейсера и подводные лодки, было страшно. Волновался, думал весь день, не спал ночью, и утром решил — ехать. Слишком велика была сумма, слишком сильно хотелось денег, чтобы отказаться.

На океане был сплошной страх. Спал в спасательном поясе и то только днем. Ночью не мог заснуть. Шел на середину парохода, там где главная лестница, садился в пижаме на диван и так сидел всю ночь. На другом диване, тут же, сидел дежурный стюарт. Мимо, в непромокаемых плащах, проходили разные пароходные служащие и по их лицам он старался угадать, есть ли опасность...

Один раз ночью была тревога. Всех будили. Все выскакивали полуодетые из кают. Неописуемый страх напал на Арсения и тут он проклинал свое решение ехать, свою проклятую страсть к деньгам.

Все время океан был мрачный, озлобленный. «Как наш аристарховский бог», — записал Арсений. Сильно качало. Вся поездка была сплошным кошмаром. Когда наконец увидели статую Свободы, отлегло на душе. Несмотря на то, что был совершенно измучен, теперь было приятное чувство, надежда получить много денег...

* *
*

В Нью-Иорке обратился к знаменитому адвокату. Заплатил за полчаса разговора тысячу долларов.

«С богатыми фирмами очень трудно судиться», — сказал тот смеясь. — «Ваше дело верное, но требует

времени и больших расходов. Пять лет и пятьдесят тысяч...»

На заводе вел переговоры тот же директор. Он был менее любезен, старался говорить, как можно меньше. Разговор стенографировался. Это испугало Арсения. Он тоже говорил мало, только цифры. Директор начал с того, что договор недействителен, но чтобы «не нарушать добрых отношений», завод согласен уплатить десять тысяч долларов... Десять тысяч вместо восьмисот девяносто двух!..

Арсений засмеялся, ничего не ответил и ушел. На завтра утром позвонил по телефону и спросил, желают-ли продолжать переговоры, или он сегодня уезжает в Россию, а дело передает в суд.

Разговоры опять начались, тянулись неделю, и каждый день директор что-нибудь прибавлял. Потом стал уже говорить другой директор — генеральный, и юрисконсульт фирмы. Арсений волновался, боясь сказать лишнее слово. Все время оговаривался, что он плохо знает язык и наблюдал, заносятся ли фразы в стенограмму.

Дошли, наконец, до суммы сто тридцать две тысячи...

Не спал ночь: «Согласиться или требовать судом всю сумму?»

Советоваться было не с кем. К утру решил согласиться...

* *
*

Сидя опять в «Плазе», в ожидании парохода, нащупывал в кармане маленькую чековую книжку и думал:

«Деньги делают войну, война делает деньги».

IX.

СРЕДИ ВЕЛИКИХ.

Мягкий, приятный звонок, и сейчас же дверь отворяется, так же мягко, как звонит звонок. Звонок повторять никогда не приходится.

Дверь тяжелая, дубовая, с кованым железом и зеркальными стеклами. Рисунок делал тот же художник, что и для ограды Зимнего Дворца. Дверь двойная и такая плотная и тяжелая, что, когда закрывается вторая часть, издается легкий звук, как при закрывании хорошо сделанного денежного шкафа.

Тяжелые лимузины тех, кто еще не совсем свой в этом доме-дворце, останавливаются снаружи. Совсем свои въезжают во двор, за такие же тяжелые кованые ворота.

С иголочки одетые шофферы привычно идут во флигель дома, в шоферскую. Комната светлая, уютная, с ковром, мягким диваном. Стопка мохнатых полотенец и даже душистое мыло.

Хозяйка дома говорит:

«Я хочу, чтобы все около меня были довольны, даже слуги...»

Про себя она хорошо знает, что глубоко презирает этих людей-слуг, этих холопов которые воруют, портят дорогие вещи, завидуют богатым, таким как она... Но она — умная, постигшая тайны успеха, хитрая маленькая женщина, и она знает, что нужно именно так говорить. Она так говорит со всеми и обо всех: обо всех только хорошее. Она не красивая, но изящная маленькая женщина, о ней все говорят:

«Шервин — обаятельная женщина... Феля — удивительная женщина».

Полное ее имя — Феликса Адольфовна.

Даже те, кто ее ненавидят. затрудняются сказать о ней плохое, так она их целует, так изысканно любезна с ними, так гостеприимна. Так хорошо говорит о них всегда общим знакомым. Такая всегда дивная

еда в доме Фели, такие вина, так всегда уютно, непринужденно, весело. А потом еще самое главное — великие князья. Они постоянно у Фели, как у себя дома, обожают ее, она им категорически приказывает, капризничает, и они целуют ручки и неуклонно исполняют.

Ссора с Фелей стоила уже карьеры одному министру. Ссориться с ней невыгодно. И если говорят о ней плохое, то только те, кто хотел бы попасть к ней в дом, но не могут...

* * *

Сегодня приемный день, четверг. Это не только значит, что многие заедут от $4^1/_2$ до 6-ти, но что человек двадцать приглашено к обеду, а потом на покэр и ужин, и опять покэр после ужина, часов до шести утра.

Четверг выбран раз навсегда потому, что балет по средам и воскресеньям, и в эти дни Феля может быть занята. Накануне дня выступления она тоже не станет сидеть поздно, есть на ночь и пить вино.

Здесь строгий, выработанный лучшими врачами, режим. Задание было — сохранить как можно дольше молодость, здоровье, упругость мускулов, свежесть кожи, и вместе с тем брать максимум от всех наслаждений, доступных людям. Способы поддержания этого равновесия разработаны до мельчайших деталей и соблюдаются безусловно.

«Полцарства за час хорошего настроения», — шутит иногда Феля, перифразируя Шекспира.

* * *

Каждое утро, ровно в восемь, заезжает доктор. Английские часы в столовой мелодичными вестминстерскими переливами бьют восемь, и в этот же момент звонит звонок на подъезде — доктор. Он всегда абсолютно аккуратен, это поставлено условием, за это хорошо платят. Если он приедет пятью, десятью минутами раньше, то прогуливается вокруг квартала,

чтобы быть у подъезда ровно в восемь. Сама Феля никогда не просыпает половины восьмого. Что бы ни было накануне...

Она сидит на диване в роскошной ванной с бассейном, совсем как у Николая II в Зимнем, в пеньюаре от Дусэ, и пьет какао с желтками, когда входит доктор. Какао тоже особенный, выписанный через Дельмаса из Голландии. Желтки от своих кур особой породы, которых держат на ее вилле в Павловске.

Она уже взяла ванну, взвесилась и сделала массаж. Доктор говорит всегда приятную, всегда новую фразу. Справляется о весе, пробует пульс, сердце, смотрит язык.

«Самочувствие?»

«Превосходно, доктор».

«На пол-фунта больше сегодня?!» — смотрит он запись — «вчера что съели лишнего? Кайтесь, Феликса Адольфовна...»

«Это опять Илья виноват, доктор... Он такие вчера крокеты из раков сделал, что я не могла удержаться. Беда с ним», — мило улыбается Феля. — «И еще все вместе собралось... Иоанн Петрович прислал клубнику из петергофских оранжерей... Теперь, в феврале клубника, милый доктор, это так соблазнительно... с Поммери. Вот вам и пол фунтика».

«Поммери... Поммери... Завтра, не танцуете... Ну, ничего», — милостиво прощает доктор. — «Поезжайте в Павловск, погуляйте часик у себя в парке, и государственный баланс будет восстановлен, хе-хе-хе... Сердце превосходно, язык еще лучше...»

* * *

«Читали сегодня в «Петербургском Дне»? Целых полтора столбца. Сравнивают вас с Истоминой. Помоему неумно... Вы несравнимы, Феликса Адольфовна. С тех пор танец ушел далеко вперед, и у вас свой,

вами созданный стиль, техника, ритм... Сравнение неумное».

«Ах, нет! Зачем, доктор?!.. Монокль, он такой милый, так весь в балете. Он, понятно, хотел мне сделать приятное. Я еще не успела прочесть, но я уверена... Он вчера заезжал, рассказывал о Кащееве... Тот опять запретил печатать обо мне статью в «Русской Газете»... За что он на меня сердится, милый старик? Что я ему сделала?!»

Еще две-три фразы, и доктор уезжает. Каждого первого он получает свой щедрый гонорар. В душистом сиреневом конвертике, с маленькими выпуклыми инициалами, деньги всегда лежат в этот день на определенном месте, в будуаре, на маленьком столике маркетри от братьев Зальгейм с Rue de la Paix.

Входит старшая камеристка:

«Какие платья на сегодня прикажете?»

Переходят в будуар, и она причесывает Фелю. Быстро, умело. Феля не любит тратить больше пяти минут на прическу. Маникюр она делает сама.

* * *

Вечер. Без четверти восемь. Съезжаются к обеду.

Сегодня исключительно много приглашенных — двадцать два, кроме своих. Почти максимум, так как стол большой столовой рассчитан на тридцать персон, не больше. Штат прислуги — тоже. Чужой прислуги Феля не любит, даже великокняжеской. Хотя на-днях пришлось взять второго шофера от князя Алексея: прежний нагрубил экономке и заявил расчет. Князь Алексей сейчас же приказал отправить его на фронт.

Очень большие собрания Феля недолюбливает. Гости почти каждый день, но немного, трое-четверо. На этот раз пришлось сделать уступку. После бенефиса надо пригласить новых лиц. Они лезли из кожи. Махнер прислал три тысячи за ложу, несколько корзин цветов и вазу с медальонами Буше, необычайного

mandarin bleu. Блюм говорит, что ей цены нет — уник. Принадлежала Наполеону III, и неведомо, где Махнер ее раздобыл.

Махнеру нужно знакомство с князем Иоанном: у него громадные дела с интендантством. Ввел его Блюм. Феля знает, что Блюм делает это не даром, но почему же не дать ему заработать: каждый хочет жить...

* * *

Гости сбрасывают шубы на умелые, невидимые руки. Несколько ступенек по мраморной лестнице с толстым ковром. Вместо поручней — четыре мраморных львиных головы держат толстый шелковый шнур...

Второй круглый вестибюль с колоннами и стеклянным куполом, и дальше зала. Белая, мраморная. По мрамору бордюры и веночки Людовика XVI, строгого Людовика XVI, из тяжелой бронзы. Такая же бронза на потолке. Бронза на потолке — так необыкновенно! Это великий князь видел в Америке в доме мясного короля, и отделали так для Фели. Мало понимающий может подумать, что это просто золоченая лепка, но зато истинный ценитель знает, чего это стоит.

Не докладывают о входящих. Гастон и второй лакей знают всех, и знают, кто приглашен на сегодня.

Здесь не как в средних домах. Там, когда большой обед, хозяйке необходимо выйти хоть мельком поинтересоваться, спросить экономку о чем-нибудь, взглянуть на сервировку стола. Какой-нибудь вопрос неожиданно является в последний момент.

Здесь этого не нужно. Хозяйка болтает с гостями так спокойно, будто она сама в гостях.

* * *

Там в вестибюле, в кухне, в обеих столовых, в зимнем саду, в винном погребе — все идет, как часы от Нортона. По известным дням заводится и идет, никогда не останавливаясь. Все смазано, отшлифовано,

тщательно пригнано. Буфетчик знает даже, кто из гостей какую любит марку, и бутылка стоит наготове, помимо отложенных для обеда общих вин. Если случайно спросят — не будет ни минуты задержки. Так всегда, каждый день.

Когда, что с чем, с какого конца начинать: «ваше высочество», «ваша светлость», «ваше высокопревосходительство», изредка просто «monsieur» — все известно досконально Гастону. В винах он знаток, и его рекомендации можно верить. Бутылки пахнущей пробкой он не подаст...

В одном только хозяйка распорядилась сама: как сидят за столом, и кто с кем играет в покэр. Первое фиксировано совершенно точно. Второе — может быть несколько изменено в последний момент. Может, например, оказаться, что намеченный для игры увлечется дамой, а она не играет. А Феля никогда не нарушит желанного tête-à-tête. Наоборот, она сама его составит — тонко, умно, незаметно. Никогда никакой неловкости, всегда приятная и умная фраза. Недаром ей поклоняются. Она женщина-гений. Гений тщеславия, гений наслаждения жизнью.

Всегда гости, приятные или нужные. Всегда весело, главная мысль о том, чтобы было весело... Любой каприз можно исполнить — нужно только придумать приятный каприз.

* * *

Князь Иоанн встречает гостей вместе с хозяйкой. Он эти полтора месяца живет здесь совсем оффициально. Низ его дворца отдан под заготовку бинтов — работают великосветские дамы. Впрочем, он и раньше жил у Фели по месяцам. У него три комнаты наверху. В его дворце всегда бывали только оффициальные приемы.

Он необычайно мил, князь Иоанн. Не было бы так заметно и приятно всем его обращение, если бы это был обыкновенный человек, а он — великий князь, из царствующего дома, и так любезен и очаро-

вателен! Ведь даже если бы он убил кого-нибудь, нельзя обратиться в суд — он великий князь, он выше закона...

Входит Махнер.

«Ну вот, наконец, милый Вениамин Самуилович!» — встает хозяйка навстречу. — «Я думала уже, что вы не придете...»

«Что вы! Что вы!.. Как можно так говорить... К вам — не приехать, Феликса Адольфовна!?..»

Он ищет глазами князя. Тот встает. Здороваясь, Махнер не выдерживает, и жмет руку несколько дольше, чем следует, и кланяется тоже несколько ниже, чем другим. Феля это замечает, и чуть-чуть насмешливая улыбка скользит по ее лицу. Разницу этой улыбки от постоянной Фелиной очень трудно заметить. Феля всегда улыбается каждому, даже шофферу и прачке, своей милой Фелиной улыбкой.

Рядом с хозяйкой занято. Как раз свободное место возле князя Иоанна, и волей-неволей Махнер должен сесть тут. Он быстро ориентируется и через минуту уже оживленно говорит. Рассказывает князю о контрольном пакете большого акционерного общества, который он только что купил. О том, как будет выиграна война... Махнер знает.

* *
*

Приезжает князь Алексей. Он мило всех обходит, всем кланяется и уходит во внутренние комнаты, как у себя дома.

Одним из последних входит Арсений. У него в автомобиле погасли фонари, и это задержало.

«Аристархов... Милый, здравствуйте! Как всегда, позже всех... Какой важный у нас, ни за что не хочет быть первым», — быстро говорит Феля, немного ребячась. Смеется и бежит навстречу. Арсений целует обе ручки и так, не выпуская их — потому что она сама придерживает — идут через залу. Феля относится к Арсению так, будто он влюблен в нее...

Она такая изящная, точно фарфоровая маркиза, в светлом тюлевом платье с оборками и маленькими голубыми бантиками. Ничего кричащего, подчеркнутого, только сафировые серьги и брошь. За них великий князь Николай заплатил тогда Фаберже сто семьдесят тысяч.

Случайно Феля роняет носовой платочек. Он стоит много дороже, чем на вес золота. Арсений поднимает, долго нюхает и не отдает Феле. Понятно, Феля уронила нарочно...

«Исключительные духи! Какие это?»

«Их в продаже нет... Я назвала их «Кани». Я вам подарю флакон».

«Почему такое название?»

«Когда нибудь узнаете...»

* * *

Еще две-три минуты, и все в сборе. Последней приезжает Лялечка с мужем, хорошенькая и глупенькая балетная. Она замужем за очень богатым уральским заводчиком. Всегда немного вычурно одевается, всегда парижские туалеты, и только теперь, во время войны, кое-что от Бризак. Другого она не наденет. Она делает капризное личико, жеманится и говорит всевозможные глупости, повторяя одно и то же по несколько раз, если это по неведомым причинам засядет у нее в головке.

Она почти не танцует в балете, но, когда нужна красивая фигура, ей дают мимические роли. Она этим горда, ее имя стоит тогда на афише среди действующих лиц, и она считает себя балериной.

* * *

Долго едят закуски в маленькой столовой, отделенной от большой аркой с тяжелой портьерой.

Алкоголь запрещен во время войны, но, разумеется, это не касается таких домов, как Фелин. Погреба

великих князей к ее услугам. Но ей не нужно: у нее свои дивные вина. Есть даже своего замка, из Медока.

Среди горячих закусок подаются знаменитые раковые крокеты. Они изумительны — тают во рту.

«Но откуда он берет теперь раков?.. ваш волшебник Илья», — спрашивает Арсений.

«Наверно из Южной Африки», — серьезно говорит Лялечка. Она думает, что раков можно привозить зимой из Африки, как и фрукты: ей вчера говорил управляющий у Елисеева, что получены замечательные груши из Южной Африки.

Лялечку ничем удивить нельзя. У ней самой всегда «самое особенное». Разве у кого-нибудь еще есть, например, такие розовые жемчуга, один как другой, нитка до колен. Она все время играет ими, и иногда, жеманясь, берет несколько жемчужин в рот и пробует раскусить.

«Клеопатра пила жемчуг, а вы грызете», — смеется Арсений. — «А вам идет роль Клеопатры. Вы удивительны в ней, Лялечка!»

«Правда?!.. Мне все говорят, что я особенная в этой роли», — довольна Лялечка. Она закатывает глаза кверху и отбрасывает назад голову, чтобы подчеркнуть свое красивое декольтэ, сделать его еще более выпуклым. Это ее постоянный жест.

Лялечка славится еще своими башмачками. Она говорит, что только один сапожник в мире умеет так делать. Сейчас на ней черные шелковые туфельки с красными кожаными каблучками.

«Правда красиво!?» — показывает она их и опять жеманится.

* * *

На всем одинаковые французские монограммы хозяйки, строгого стиля «F. S.».

«F. S.», знаете что это обозначает по латыни?» — говорит Арсений, обращаясь к Феле. — «Fortunam sequator» — следуй за своим счастьем. О вас, Феликса Адольфовна, говорят, что вы самая счастливая

в мире женщина: по моему вы самая умная в мире женщина», — вполголоса добавляет он, когда близь нее оказывается и князь Иоанн.

Князю очень нравится это замечание. Он наливает старой водки в золотую чарку с монограммой Петра Великого и просит Арсения выпить с ним за здоровье Фели. Потом целуют ей обе ручки одновременно — один правую, другой — левую. На Махнера это производит впечатление.

* * *

Блюд немного.

Стерлядь в шампанском и маленькие растегаи с вязигой и свежей икрой. Индейка со свежими грецкими орехами («Откуда их взяли теперь?» — недоумевает Арсений) и каштановым пюре (его любит князь Иоанн). Сладкий соус Кумбэрлен, любимый Фелин.

На сладкое клубника Мельба, свежая клубника из оранжерей, такой изысканный «примёр» в это время года...

Все уже сыты закусками, холодными и горячими, но всетаки едят и эти блюда, шедевры кулинарии.

«Какая божественная индейка!» — говорит кто-то не всё знающий. Феля как будто не слышит, но Лялечка бухает, хотя к счастью вполголоса:

«Никогда не бывало таких вкусных индюшек и поросенков, как во время войны... Их там особенно откармливают».

Поросята и индюшки, целый транспорт, присланы на прошлой неделе князем Алексеем из его штаба около Барановичей.

Понятно, это не он сам сделал, а кто-то услужил...

Поросята и индюшки лежат у Фели в подвале, в рефрижираторе. Рефрижиратор настоящий, с охлаждающей электрической машиной, а не просто ледник, как бывает у других.

Во время революции 905 года у Фели погасло электричество, как раз во время обеда. Забастовала

электрическая станция. И несколько дней электричества не было. Было жутко, неприятно. После этого сейчас же устроили при доме свою станцию.

«Нельзя-же оставаться в темноте из-за того, что какие-то там рабочие вздумают бастовать!» — сердилась тогда Феля.

* *
*

Тостов нет. Пьет каждый, сколько хочет и что хочет. Бокалы незаметно наполняются, так что не может быть неловко тем, кто хотел бы выпить больше.

Под конец ужина все переходят на шампанское: одни пьют «натюр», другие «сек», — то и другое лучших годов, разумеется.

«На днях заезжает к Фаберже Евграф Николаевич (все знают, кто такой Евграф Николаевич) и заказывает кольцо — бриллиант вставленный в сафир...» — рассказывает Арсений соседке. Но слышат и другие: в это время маленькая пауза. Большая пауза вносит всегда неловкость, но здесь большой не может быть: Феля не допустила бы, а такую маленькую можно.

«Фаберже показывает ему несколько образцов. «Нет! да нет-же!.. я совсем не то хочу, это шаблонно до противности», — говорит Евграф Николаевич», — «я хочу, чтобы вы взяли большой сафир, сделали из него колечко, и в это колечко вставили бриллиант...» Даже Фаберже удивился. — «Рискованная работа, колечко тонкое, в последний момент может расколоться...» «Но это оригинально! Вам никогда не заказывали такого!?..» — Заплатил Фаберже шальную сумму».

«Как особенно!» — соглашается Лялечка. На этот раз она должна признать, что у нее такого нет. В ее маленьком, капризном мозгу уже работает мысль, что заказать бы Фаберже еще более «особенное», когда у мужа будут свободные деньги. А они у него всегда есть свободные, если Лялечка этого очень захочет.

* *
*

Для клубники Мельба подают золотые приборы. Тарелки покрыты тончайшей эмалью. Поверх эмали незаметное, тонко пришлифованное стекло.

Махнер прежде чем начать есть, осторожно проводит вилкой по стеклу. Он боится испортить драгоценную тарелку, но еще больше опасается выказать непривычку обращаться с такими вещами.

Шервин разговаривает с кем-то и в то же время наблюдает за Махнером. Арсений видит это и улыбается.

«За эти тарелки ты накинешь еще двадцать пять тысяч к сегодняшнему проигрышу», — думает он про Махнера.

* * *

После обеда — бридж. После ужина — покэр. За главным столом играет Шервин, князь Иоанн, Махнер, богатый балетоман — крупный южный помещик с тройной фамилией — и муж Лялечки.

Махнер решает проиграть для начала знакомства князю Иоанну или Шервин сто тысяч. После ужина он увеличивает эту сумму до ста пятидесяти.

Покэр особенно удобен тем, что «блэфируя», можно проигрывать умышленно, не внося неловкости и не возбуждая неудовольствия партнера, и — что главное — можно проигрывать именно тому из играющих, кому хочешь. Во всякой другой игре это невозможно.

Махнер покупает на что попало, если играет князь Иоанн или Шервин. Уже проиграно тысяч восемьдесят.

Махнер человек тонкий. Он понимает, что нельзя все время блэфировать только против хозяйки или князя, надо и против остальных партнеров, иначе будет заметно. Его злит, что князю Иоанну карта не идет...

Махнер прикидывает: из его восьмидесяти тысяч сорок пять у князя, около двадцати у Шервин, и пятнадцать все-таки у двух других партнеров. Эти пятнадцать зря потеряны — он сердится.

Вдруг происходит такая неожиданность.

Махнеру приходят два короля. Князь Иоанн вошел перед ним. После Махнера входит балетоман с тройной фамилией. Муж Лялечки и Шервин пасуют... Думая, что он останется против князя, Махнер скидывает нарочно двух королей и оставляет две случайных бубновки. Купивши три карты, он, к удивлению, видит, что у него пять бубён, по порядку от дамы, — получилась одна из высших комбинаций в покэре — «стрэйт флаш». Он не хочет итти с такой картой против князя и готов уже бросить, как князь Иоанн сам пасует, и Махнер остается против балетомана с тройной фамилией.

У балетомана на руках три туза и две двойки, «фулл хауз». Он видел, что Махнер покупал три карты, и знает, что тот постоянно блэфирует: он решает взять хороший куш с этого выскочки. Оба повышают, доходят до двадцати тысяч... Махнер тогда сразу удваивает до сорока. Балетоман набавляет еще двадцать. Махнер покрывает их и набавляет тоже двадцать... Все настораживаются. Узнают соседние столы. У Махнера не оказывается больше перламутровых косточек, и он хочет лезть в бумажник за деньгами. Но неприлично играть прямо на деньги: хозяйка быстро привстает и в маленьком ящичке соседнего «секретэра» находит специальные кости по двадцати тысяч. Она дает противникам по пяти костей и еще пять держит незаметно в руке. Она не произносит ни слова, она сама игрок: она понимает, что под руку в таких случаях не говорят...

На столе сто тысяч. Набавляют оба еще раз по двадцати, и, наконец балетоман не выдерживает, ставит последних двадцать и предлагает «открыться». На столе сто шестьдесят тысяч.

Когда Махнер раскрывает свои карты, все ахают. Он, понятно, выиграл!..

Даже само спокойствие и выдержка, Гастон, останавливает на полдороге протянутую чашку кофе.

* * *

Подают турецкий кофе в крохотных чашечках, чай, шампанское. На каждом столе для курящих лампочка с синим огоньком: лампочки золотые, XVI века — ими мог бы гордиться любой музей.

Два других лакея приносят petit-fours, торты, замороженные конфеты и фрукты. Все накладывают себе, хотя сыты чрезмерно.

Уже половина четвертого.

Мягкий звонок на парадном. Его не слышно в игорных комнатах. Гастон вполголоса докладывает Феле:

«Его императорское высочество Юрий Николаевич...»

Феля еще не успевает встать навстречу, как входит князь Юрий и с ним Жоржи, Додо и Шмуль. Жоржи — постоянный спутник князя — красивый, замечательно сложенный балетный танцовщик. Додо — известный театральный критик — его все знают, все зовут «Додо». Шмуль — известный актер, когда-то певший в опере, потом в оперетке, теперь нигде не поющий. Его настоящее имя — Николай Иванович Барабанов, но его все знают под кличкой «Шмуль». И князь Юрий, и двое спутников совершенно пьяны. У Шмуля в руках гитара.

* * *

«Мы к тебе, Феличка... Не прогонишь?!» — говорит князь Юрий и кланяется гостям общим небрежным поклоном. Додо и Шмуль идут здороваться с каждым в отдельности, пока не останавливаются у столика с винами.

«Вот это коньяк!.. Наполеоновский! В подвалах Олимпа нет такого», — говорит Додо и наливает по бокалу себе и Шмулю.

Князь Юрий смотрит в упор на Махнера и спрашивает Фелю:

«Это что за фигура?!»

«Махнер... Очень милый человек, мой новый поклонник... Не хочешь ли закусить, Юрочка?» — без тени неудовольствия отвечает Феля, хотя вопрос князя Юрия и особенно тон вопроса, ей очень не нравится.

«Есть?! благодарствую... Едим с восьми вечера... А вот выпить — выпью», — и князь Юрий с Жоржи присоединяются к Додо и Шмулю.

«Жоржи, ты не пей... Сейчас Шмуль будет петь», — объявляет князь Юрий. — «Прошу внимания!»

У Шмуля только остаток голоса, зато теплый, мягкий, пробирающийся в сердце в цыганском романсе. Только речитативы, а не пение.

Идут в соседнюю гостиную. Шмуль поет. Поет старый цыганский романс, сам аккомпанирует на гитаре. Другой, третий. Додо садится за рояль и тоже мурлычит что-то неприличное, некоторых слов не разобрать...

Опять поет Шмуль, и гости подпевают хором. Князь Юрий дирижирует. отбивая ногой такт.

«Смотри веселей!..»

* * *

За двумя столами продолжают играть, остальные уже в гостиной. Феля поспевает и там, и тут. С приходом князя Юрия настроение повысилось. Он держится развязнее, чем следует, но все знают, что это его постоянная манера, все знают, что князь Юрий всегда в парах алкоголя. Князь Юрий известный скандалист.

Додо подсаживается к Куркиной и нюхает ее грудь, втягивая носом воздух.

«Вот так odor di femina! От такого запаха, Клавдичка, мертвый в гробе встанет».

Куркина надушена крепчайшими духами, последняя новинка Парижа — только что привез ей военный курьер. Голая грудь и спина стянуты до отказа, и корсет и бархатки на плечах врезываются в сдоб-

ное тело. Сегодня на Куркиной нет полного комплекта ее бриллиантов, но всетаки она переливается как хрустальная люстра.

«Ты, Клавдичка, перетянута, что добрая венгерская салями», — говорит Додо, облизывая ей локоть.

«Не говори пошлостей, Додка... Что вы вчера выкинули с Юрием? Мне Феличка говорила...»

«А... Это у Насти Чертенка. Забавно... Было штук пять девочек, две новеньких; Настя уверяла, что смолянки... Его высочество вывинтил электрические пробки, и полчаса в доме была полная темь. Все в темноте переоделись... вернее разделись. За лучший костюм был приз: портсигар с вензелем его высочества...»

На слове «высочество» Додо все время делает ударение.

«Когда зажгли свет—зрелище было экстерриториальное. Настя разделась голюсенькая, со страусовыми перьями в прическе, и черные коротенькие перчатки и чулочки... Замечательное у нее еще тело, Клавдичка... Шмуля вырядили Вакхом: виноградные гирлянды, остальное голое, — вот бы ты посмотрела!.. Смоляночка была голенькая, в красном пиджачке и красных туфельках, завитая блондиночка. Прелесть... Золотые волосики. Приз дали блондиночке...»

«А ты в чем был? »

«В цыганском кафтане с гитарой.»

«Почему не голый?»

«Почему?! Я пьян, а когда я пьян, я говорю иногда правду — я не альфонс и не приживальщик высочайших. Я журналист, понимаешь!.. Я хожу на голове, потому что мне нравится, а не потому, что это нравится другим... Вот! После маскарада отправились к Юрию и купались в бассейне. Шмуль так и плавал в венке, животиком вверх... Не тонет, сукин сын, как пузырь. Там и ночевали...»

«Кто же с кем?»

«Шмуль со Спетью, я с институточкой, а его высочество с Настей и Жоржи... Я уже три дня ни в редакции, ни дома не был...»

«Алексей, прикажи твою лезгинку», — предлагает князь Юрий.

Князь Алексей делает знак Гастону, и через полчаса появляются два кавказца. Князь держит их при себе из-за лезгинки: никто так не танцует, нет конкурентов! Оба числятся в госпитале, чтобы не итти на войну. Высокие, страшные осетины.

Додо у рояля, Шмуль подыгрывает на гитаре. Князь Юрий и князь Алексей отбивают ногой такт, не жалея паркета, и хлопают в ладоши.

Темп все быстрей... Сейчас пробьют паркет. Присоединяются гости. Танцует уже сам князь Юрий. Это еще более поджигает кавказцев, они приходят в экстаз ожесточения. Уже не улыбки, а злоба. Выхватывают из ножен кинжалы, грызут их, злобно перекосивши лица... Все подпевают, отстукивают и хлопают. Появляются бубны. Темп все ускоряется.

«Стой!.. Теперь алла-верды!» — командует князь Юрий.

И все хором, громче всех кавказцы, поют «Алла-верды, господь с тобою»... Среди поющих умело скользят два лакея с новыми бокалами шампанского. Для кавказцев вместо шампанского налит коньяк. Такова традиция: всегда так...

Кавказцы уходят.

* * *

Шмуль еще бренчит на гитаре. Додо пробует петь, но не может, прерывает на полу-слове и ругается:

«К чорту!.. Не могу больше пить. Сам люблю выпить, много пьяниц знаю, но чтобы столько пили, сколько ты пьешь, ваше высочество, никогда не видал...» — бормочет он заплетающимся языком.

Гости разместились группами в гостиной и в зимнем саду. Шмуль рассказывает двум балетным неприличные анекдоты, те закрываются веерами и хохочут. Князь Юрий, проходя мимо Лялечки, легонько хлопает ее по декольте:

«Чертовское у тебя декольте, Лялечка...»

«Ты особенный нахал, Юрий!»

Лялечка делает вид, что обижена, хотя ей это только приятно. Лишь бы не видел муж...

* * *

В конце игры, в шестом часу утра, князь Иоанн и Шервин в выигрыше сто девяносто три тысячи. Около семидесяти проиграл балетоман с тройной фамилией, остальное Махнер. Таким образом у Махнера экономия, и он решает проиграть в следующий раз. Может быть еще с надбавкой. Это смотря по тому, как устроятся завтра интендантские дела: там слово князя Иоанна решающее. Речь идет о десятках миллионов и лишние сто тысяч не расчет...

Шервин успевает отозвать на несколько минут Арсения:

«Милый Аристархов... Вы знаете, Кащеев опять не позволил напечатать статью обо мне...Что я ему сделала, милому старику?!»

Арсений уже знает об этом, слышал в редакции.

«Я это устрою, Феликса Адольфовна. Статьи будут печататься, но я должен познакомить вас с Войтинской.»

«С Войтинской!?» — удивляется Феля, хотя она именно это и имела в виду.

X.

ОДИН ИЗ ВЛАДЫК БИРЖИ.

Банкир Мамон — большая фигура. У него свой банк, в десятке обществ он председатель и директор. Про него Грабельщиков рассказывал:

«Пришел я к нему с предложением войти пайщиком в большую новую газету. Выслушал меня спокойно, с улыбочкой, предложил двухрублевую сигару, «какие курит всегда великий князь Николай Михайлович», а потом говорит:

«Извините, что я откровенен... Вообразите, что на вашей улице, где вы каждый день ходите, имеется пять больших собак. Они лаяли, рвали вам штаны, прокусили икры, но вам удалось, наконец, их прикормить... Бросали кусочки мяса и другое, и теперь можете более или менее спокойно ходить по вашей улице. Ну, скажите вы мне, дадите ли вы денег на то, чтобы купили еще шестую собаку?..» Едкая каналья, настоящий петербуржец... На «вашей улице», говорит! Это, видите ли, его улица — вся Россия и весь русский народ! Наглые пошли люди, никак не перенаглишь их. Куда мы идем?!»

Фамилия Мамона была когда-то Мамонник, но «ник» затерялось в провинции — это обошлось Мамону в изрядную сумму.

«Да, фигура... Биржа убивает стремление к женщине, а этот первый бабник... Фрукт! Такой мягкий и тихонький. И остроумная иногда каналья. Уже все на каторге будут, когда его туда пошлют...» — дополнял Грабельщиков.

Мамон делал погоду на бирже. Он и еще два-три таких могли, сговорившись, поднять или уронить любую бумагу. Скупали, поднимали, продавали и уходили. Сливки оставались у них, — другим шло снятое молоко. В лучшем случае, — а в худшем другие теряли.

* * *

Мамон часто бывал у Войтинской. Но никогда не встречался с Кащеевым. Всегда предварительно спрашивал по телефону.

Садился в мягкое кресло, долго и любовно курил сигару, пил чашку кофе и не больше одной рюмки зеленого шартреза, и при этом говорил о чем угодно, только не о бирже и банках. Иногда играли вдвоем в

безик. Каждая минута у него была занята и расписана, а тут сидел спокойно часами. Иногда подолгу молча смотрел на Войтинскую или в камин, затягивался сигарой и говорил:

«Прекрасная! вы знаете, я не смотрю на вас, как на других женщин: это раз навсегда условлено... Я изучаю ход ваших мыслей. Если бы вы были главнокомандующим на войне, даже ваши приближенные не могли бы угадать ваших планов... Если бы научиться узнавать, что вы сделаете завтра, можно бы разгадывать психику толпы...»

«И тогда наверняка играть на бирже?»

«Я и так работаю наверняка... Биржу не надо угадывать, биржу надо делать», — смеялся он ласково.

«Вы, банкиры, грабите народ... Вас надо в каторгу», — оправдывает она вдруг мнение о неожиданности ее мыслей. Это влияние Грабельщикова.

«Банкиры откроют тогда биржу на каторге, и все поедут к нам, как теперь ездят в Монте-Карло, прекрасная. Там тогда будет столица. Мы — необходимое звено, без нас остановится культура. Когда-то были Медичи, теперь Морганы, Асторы...»

«И Мамоны... Но если будет революция, вас всех повесят на столбах около ваших банков... Выкрасьте их, по крайней мере, красивой краской» — смеется Мэри, наливая Мамону еще чашечку кофе из серебряного кофейника старого английского серебра. Его подарок: Мамон родился в Шавлях, но теперь он понимает толк в вещах.

* * *

На столе рядом желтые гиацинты. Наполняют будуар пряным запахом.

«Благодарствуйте, прекрасная», — целует Мамон руку около локтя: это ему разрешается — не больше. «Благодарствуйте» — это тоже хороший тон, усвоенный недавно Мамоном от великого князя.

«Нас не повесят... Мы уедем за границу, если будет совсем плохо. Попробуют без нас, потом позовут обратно... Без нас нет прогресса. Нет литературы, искусства, нет нежных цветов и тепличных экзотических женщин: некому оплачивать их... Кто будет покупать картины у художников? Кто будет давать деньги издателям?.. Без меценатов не может существовать искусство, а меценатами могут быть только те, у кого много денег. Деньги у нас. В Америке это давно поняли, и берегут и любят своих миллионеров».

«А что купить сейчас, Мамон?»

«Я записал вам вчера стоНоблесснера. Они сегодня выше на тридцать рублей. Вы меня не спрашивайте, прекрасная, я о вас всегда помню... Сколько вам нужно всего заработать?»

«На вашу долю пятьдесят тысяч.»

«Это скоро будет, если уже не готово. Я завтра скажу сделать выписку вашего счета... Вы только меня не спрашивайте о бирже: целый день о бирже — у меня от мозгов сыворотка отходит. Я к вам приезжаю в другой мир...»

* * *

Это Войтинская давно уже познакомила Арсения с Мамоном. Мамон не любил новых знакомств, тем более неожиданных: они иногда дорого обходились. Но в такт Войтинской он верил. Теперь Мамон и Арсений были уже приятелями.

Сегодня тоже ждали Мамона, попозже. Пока сидели вдвоем в будуаре.

Арсений говорил:

«Мы вылезали с тобой, Манечка, из рамок, рискуя вывалиться и разбиться... Гнались за наслаждениями и экстазами. Лезли вверх во чтобы то ни стало... Должны быть экстазы — без них человек мокрица, слизняк... Экстазы творчества — если это дано... Экстазы сексуальности, особенно экстазы сексуальности! Пускай экстазы оргии, экстазы излишества, но экстазы... Самое мудрое, до чего дошли люди, это —

«жизнь кончается завтра»... «Сегодня» — самое ценное! Завтра может не быть. Каждый день, каждый ушедший час невозвратимы... Ушли, пропали, никогда не вернутся... Но если они оставили в душе маленькую радость, она живет в воспоминаньи и делает радостнее каждый последующий час...»

Войтинская сидела полулежа на своем любимом месте, широком диване с плетеным сиденьем и плюшевыми зелеными подушками. Она еще девочкой мечтала о таком диване — видела его у Зининой подруги. Пришлось обставлять будуар по этому дивану. Арсений, сидя рядом, гладил ее руку, потом нагнулся, чтобы положить голову ей на колени. Блэк-териер Плюш принял это за личную обиду и неожиданно, с пронзительным лаем, бросился на Арсения.

«Поганая псина!.. ты все еще мой непримиримый враг... Он мне чуть нос не откусил», — Арсений шутя на него замахнулся. Плюш стал надрываться еще пронзительней. — «Он ужасно глуп, твой Плюш...»

«Зато безкорыстен... только глупые бывают безкорыстны», — засмеялась Войтинская и уложила Плюша на кресло. Плюш обиделся и пошел к двери.

* * *

Зазвонил телефон.

Войтинская взяла трубку.

. . . .

«Здравствуй, мандрил!»

. . . .

«Этого еще недоставало!..»

Войтинская сделала знак, чтобы Арсений взял вторую трубку.

Говорил Кащеев:

«... Я видел спектакль, она была в ударе, играла как никогда, дала законченный тип... После третьего акта вызывали несколько раз...»

«А как он написал?» — перебила Войтинская.

«Так и написал — дала яркий отделанный до деталей образ...»

Арсений знал в чем дело — речь шла о Львовой, талантливой актрисе, дублерше Войтинской. Эту роль хотела играть Войтинская, но Кащеев уговорил ее на этот раз отдать Львовой.

«Вычеркни, мандрилка, яркий образ и прибавь — хотя роль ей совсем не подходит...»

«Не будь ты, Мэри, закулисной бабой... будь выше этого...»

Войтинская, опять смеясь, перебила:

«Что!?.. ты, мандрил, кажется проповедуешь служение святой правде, давно ли!?.. ты шутишь... вычеркни, понятно...»

«Ну ладно, чорт с ней!..»

Войтинская хохотала.

«Мой милый старенький мандрил, ты не напечатал бы и сам. Позвонил просто, чтобы поломаться... Завтра ты у меня завтракаешь?... Не забудь. Спокойной ночи.»

* * *

Арсений поправил дрова в камине, повертел в руках слоника.

«Я не раз думал, Манечка, откуда у меня эта жадная погоня за радостью жизни?.. Откуда понимание, что нужна эта погоня?.. Мое детство было мрачное, ты не можешь представить себе, какое мрачное. Из меня должен был выйти крайний пессимист. Я жду всегда и теперь самого худшего, готовлюсь к этому худшему, сживаюсь с мыслью о нем — и когда худшее не случается, я радуюсь... Радуюсь, так сказать, не положительно, а отрицательно, не тому, что я выиграл, а тому, что не проиграл... Встречаю нового человека и уверен, что он мерзавец, и придумываю все гадости, какие он может мне сделать. Потом оказывается, что он сделал вместо всех предполагавшихся гадостей, только одну маленькую, и я думаю — «какой милый человек!...»

Манечка засмеялась и поцеловала Арсения в голову:

«Моя дрянь полосатая!.. А жизнь и тебе далась не даром...»

«Я отскочил на три поколенья от предков. Одно для меня остается загадкой — под влиянием каких причин это случилось? Влияние университетских товарищей, тот период жизни, когда мы с тобой встретились? Влияние женщин?.. Но ты понимаешь, чтобы оказать влияние на человека, надо чтобы в нем было предрасположение к этому влиянию. На нас оказывается масса случайных влияний, каждый день, каждый час, но одни оставляют след, другие нет... Как заразительная болезнь: надо быть предрасположенным, чтобы заболеть... Откуда у меня это предрасположение?»

«Твои тогдашние разговоры запали мне в душу. Человек не сознает, как западают его слова другому. Сказал и забыл, а у другого осталось на всю жизнь».

«Ты права... Но почему одно западает, а другое забывается? Когда я сравниваю себя в детстве с тем, что я теперь, я поражаюсь пропастью, отделяющей меня от прошлого. Я — тогда, и я — теперь, совершенно разные люди. В одно поколение люди меняются, оказывается, до неузнаваемости. Из крестьянского мальчугана с никогда не моющимися ногами можно воспитать Петрония, арбитра красоты и вкуса... Из сына вора может выйти пророк высочайшей морали...»

* * *

Приехал Мамон.

Как всегда, в смокинге. Как всегда, с цветами. В петлице полураспустившаяся камелия. Несколько еще для Войтинской.

«Почему сегодня камелии?»

«Такие же холодные, как вы, прекрасная... До сегодняшнего дня я боялся привозить камелии, я думал, что это намек на даму с камелиями... А вчера я прочел,

что настоящая «дама с камелиями», описанная Дюма, как раз камелий и не любила, это он сам выдумал... Вам камелии очень подходят — красивые, холодные, по виду совсем искусственные цветы, а внутри такие же живые, как и все другие».

«Очень мило», — засмеялась Войтинская. — «Я никогда раньше не подумала бы, что банкиры способны на романтику и сантименты... До знакомства с вами я представляла себе, что они прямо вынимают из кармана чековую книжку и спрашивают — «сколько?»

Арсению надо было спросить о новой акции, но не спросил: знал, что Мамон не любит здесь говорит о бирже...

Арсений был сегодня в ударе.

В таком настроении он говорил горячо и интересно. Это обычно приходило с хорошим настроением, с удачей. Удачи и неудачи бывали каждый день: но один день ему жизнь казалась удавшейся, идущей именно так, как нужно; другой раз те же самые обстоятельства, те же случаи казались безнадежными, все безцельным и ненужным.

Он умел возбуждать в других желание отвечать, и время уходило незаметно, и у собеседника не было утомления разговором, а оставалось сожаление, что разошлись... В нем было много поверхностного, схваченного на лету, но и это преподносилось слушателю в необычных и рискованных комбинациях. Специально русская интеллигентская манера, импонирующая именно русскому и мало понятная англичанину, американцу, даже французу.

* *
*

«Вы, Николай Моисееевич, вероятно единственный на свете философствующий банкир?» — сказал он Мамону, гладя Плюша, с которым уже помирились.

«Да, это среди банкиров редко», — засмеялся Мамон.

«Вы не обижайтесь за банкиров: журналисты отличаются болтливостью. Чтобы заставить другого быть

откровенным, нужно быть откровенным самому. Нужно самому открывать душу, тогда и другой выскажется... Рескин писал, что Лондон занимается только игрой, и все большие города мира занимаются только игрой. Ничего не производят, только спекулируют тем, что создано другими... Создающие живут впроголодь — все блага жизни идут играющим. В первых рядах жизни все занято паразитами и самые большие паразиты вы, банкиры. Нужно все переделать. Мир живет ложью...»

Мамон покачал головой.

«Правда?.. Где правда? Правду искали Моисей, Будда, Аристотель, Христос, а всё идет по старому. Ницше тоже думал, что нашел какую-то правду, Толстой думал... Какой вы типичный русский, Арсений Павлович. Непротивленство и анархия. Хорошо еще, что тут же глубокая пассивность, а то русские давно бы наделали беды, большой беды... Самые умные государственные люди всегда были в Англии. Это потому, что их государственные люди никогда не ищут правды, а только выгоды для английской нации. Самое невыгодное — искать правду... А вы ищете сразу правду и миллионы — это вовсе несовместимо. Писать и говорить для других так можно, но не нужно так думать про себя...»

* * *

«Надо охранять наш строй всеми способами» — продолжал самодовольно Мамон — «хороший строй. Я принял крещенье потому, что я считаю христианство очень хорошей религией — умная религия. Христианская религия охраняет существующий порядок... Против химер социализма нужно что-нибудь выставить — мы выставляем патриотизм и религию. Я хожу в церковь каждую неделю... Социализм обанкротился, но все-таки не надо о нем забывать».

«Почему он обанкротился?»

«Он обанкротился в тот день, когда социалисты пошли на войну... Они, как дети — они были против нас и пошли воевать за нас».

«Есть социалисты, которые осуждают войну, не пошли и борятся против».

«Есть... Они разобьются о нашу религию и патриотизм, а в крайнем случае мы с ними придем к соглашению — возьми себе все, оставь мне частную собственность...»

Мамон весело смеялся.

«Однако, должен ехать — очень сожалею — у меня сегодня большой ужин, человек тридцать».

Он встал.

«Зачем вы кормите такую ораву, если вам это не доставляет удовольствия?» — сказала Войтинская.

«И как еще кормлю, прекрасная: изысканно, тонко и до отвалу. Какие вина!.. Сам покупал в замках, нарочно ездил из Парижа в автомобиле».

«Зачем же это?»

«Зачем?! Я скажу вам, зачем... Нужны свои люди. Нужно, чтобы обо мне говорили. Нужно знать, что вообще говорят.. Нужно все знать. Когда человек вкусно поест и выпьет, он совсем другой. Его можно брать голыми руками. К нему можно лезть в душу и сердце. Человек до обеда и человек после обеда — разные люди. Вы замечали?» — и увлеченный своей философией Мамон продолжал, забывши, что надо ехать.

«Никогда не просите людей о чем нибудь до обеда. только после, и после хорошего обеда... Когда вы его подведете к столу, где приготовлено для него тридцать сортов закусок — крупно-зернистая, светлосерая икра во льду, балык всех цветов янтаря, рейнская лососина, нежная, как грудь молоденькой женщины... Устрицы четырех сортов, страссбургский паштет в глиняном горшке, и грузди, и анчоусы и все, что хочешь, и потом начинают подавать дышащие растегайчики с вязигой, и почки мэньер, и кавказские тифтели, и еще пять горячих закусок, и когда он наложит себе

большой ложкой ледяную икру на горячий растегай, и никто ему счета за это не представит, и все это с ледяной водочкой, и потом, наевшись, как протодиакон на Пасху, начинает обедать, и скушает семь тонких блюд и выпьет все вина, какие могут только влезть в человека — тогда он подумает: «надо сюда дорогу не портить!..» Да, тогда просите у него, что хотите — он не откажет, он не может отказать, если бы и хотел... У него парализованы те центры, которые отказывают... Выше такого обеда только женщина. Но не трудно сделать такой обед, а как трудно найти прекрасную женщину!.. И нельзя же раздавать прекрасных женщин всякому... Когда вы его так накормите — он ваш друг. Не надолго, но сейчас и пока будет ждать новых обедов, он ваш друг, любит вас... Но я все болтаю, а надо ехать. До свидания, прекрасная... До свидания, Арсений Павлович...»

XI.

СЛУЧАЙНОСТИ.

Оконина знал теперь весь Петербург. Он теперь жил в Петербурге. Его узнали еще тогда, когда во время русско-японской войны он вернулся из заграницы в расчете на амнистию, обещавшую политическим эмигрантам, прощение если они пойдут добровольцами на войну. Несмотря на ясное обещание, Оконина арестовали на границе и отправили в Петропавловскую крепость. Павлик Ивков получил тогда от него удивительное письмо. Оно было написано на большом листе почтовой бумаги, сверху были слова:

«Милый Павлик, ты знаешь что я сижу...»

Затем шли пустые страницы, а в конце четвертой было опять три строки:

«Если можешь, предприми что-нибудь! Засим прощай — твой Оконин».

Чистые страницы письма были измазаны реактивами всяких цветов. Там, понятно, ничего не было написано и жандармы, в конце концов, видимо, поняли, что над ними просто издеваются. Тем не менее письмо было доставлено.

Может быть, за Оконина уже хлопотала ее высочество, потому было доставлено и письмо.

Его освободили и он уехал на войну, как военный корреспондент от одной из петербургских «прогрессивных» газет.

* * *

В Петербурге передавали рассказы о поведении Оконина на войне. Он проявлял там абсурдную храбрость.

Где-то около Мукдена он оказался на передовых позициях на одной из батарей. Батарея была под сильным японским обстрелом и из восьми орудий оставалось уже только одно. Командир батареи был убит, два других офицера ранены. Принявший команду последний, решил отступить, так как сопротивление было бесцельно — все были бы перебиты. Но Оконин заметил как бы шутя:

«У нас есть еще одно орудие. Самый важный выстрел всегда последний. Он часто решает исход сражения».

Батарея продолжала стрелять. Оконин сел на камень на незащищенном месте, вынул из сумки коробку сардинок, открыл ее, поставил на другой камень и пригласил офицера закусить. Тот подошел. В это время пуля пробила сардинную коробку и масло потекло по камню.

«Надо скорее есть, а то сардинки будут сухие», — сказал Оконин.

Он стал есть, но пошатнулся и упал с камня. Поднялся и спокойно сказал:

«У меня кажется прострелена грудь... Надо кончить скорее сардинки...»

Двое солдат, несмотря на его сопротивление, оттащили его за прикрытие, наскоро сделали перевязку и повезли на перевязочный пункт. Его хотели нести на носилках, но он заявил, что может ехать верхом. И действительно поехал, но по дороге свалился и уже в бессознательном состоянии был доставлен в лазарет. На утро, придя в сознание, он первым долгом спросил зубную щетку и захотел чистить зубы. Ему не позволили, так как всякое напряжение могло вызвать сильное кровотечение. Рана была опасная. На Оконина окружающие уже смотрели даже здесь, на войне, как на странного человека — не то героя, не то сумасшедшего...

* * *

Вернувшись в Петербург, он поехал поправляться к брату в имение, а затем куда-то исчез.

Петербург узнал о нем снова, когда он приехал из Америки с только что построенным аэропланом Райта и заявил, что будет летать над Петербургом. В России еще не видали аэроплана. Еще сам Райт опасался летать. Сначала этот полет был Оконину запрещен, боялись, что он упадет на улицу, но затем заинтересовались военные власти, было доложено государю, и полет состоялся.

Оконин поднялся с только что устроенного аэродрома, облетел вокруг Исаакиевского собора и благополучно вернулся обратно...

Он был героем дня. Государь подал ему руку и благодарил.

* * *

Теперь Оконин вел широкую жизнь. Опять ездил на собственных выездах, показывался всюду в компании экзотического принца.

Принц учился в пажеском корпусе и был известен противоестественными наклонностями.

Оконин делал все, чтобы прослыть эстетом. Старался говорить парадоксами и афоризмами, подражал Дориану Грею и героям Гюисманса. Он ходил виляющей развинченной походкой, пил исключительные марки из особых бокалов, переодевался несколько раз в день — вечером обязательно во фрак. Галстуки носил только выбранные ее высочеством...

В своей квартире он отделал гостиную под ванную комнату с зеркальной стеной и громадными диванами. Стояли жардиньерки с арумами и орхидеями. Накурено было одуряющим едким курением. Табаку Оконин теперь не курил — табачный дым не выносила ее высочество, подражая ее величеству.

Рассказывали об оргиях в этой ванной. Непременным участником их был экзотический принц. На оргиях бывала иногда и высочество. Принц не только не мешал чувству ее к Оконину, а наоборот это ее и привлекало. В ее голубой царственной крови было нечто от эротического деспотизма Александра III и извращений других членов императорской семьи.

Бывал еще постоянно другой эстет с женственной наружностью, популярный драматург и режиссер, поклонник Бердслея. Он тоже старался говорить афоризмы, сладкие и нежные и написал книгу «Самокульт».

* * *

Оконин вошел пайщиком в либеральную петербургскую газету «Русский Голос» с условием, что он будет редактором. Дела газеты сначала шли блестяще, она стала угрозой «Русской Газете». Но быстро выдохлась, и по прежнему несокрушимым колоссом остался Кащеев, попрежнему только он делал общественное мнение верхов...

Средства Оконина приходили к концу. Остатки он вкладывал в газету, надеясь опять поднять ее. Но тираж все падал.

Он втянул в газету Ахаева. Ахаев сам был теперь разорен. Промотавши два миллионных наследства он решил жить искусством. Готовился открыть собственный театр. Писал стихи.

Газета быстро проглотила остаток ахаевских миллионов и стояла теперь перед полным крахом.

* * *

Арсений встречался с Оконииным. Был у него как то в квартире, чтобы посмотреть знаменитую ванную.

Но на самую оргию Оконин не пригласил.

Арсений спросил:

«Почему ты меня не зовешь на твои мистерии?»

«Нельзя. Ты слишком нормален... Главное же — ты не связан ни с кем, а все должны быть интимны... У тебя рабовладельческий сексуализм. Ты хочешь твое только для тебя».

«Я не совсем тебя понимаю».

«Просто. Если женщина принадлежит тебе, ты не станешь делить ее с другими, хотя бы близким, хотя бы в обмен на другую...»

«Не стану».

«Вот! Поэтому невозможно».

В последнее время Оконин стал чаще заезжать к Арсению и всякий раз говорил о растущем успехе своей газеты.

Арсений не верил, но не возражал.

Московский миллионер-фабрикант решил издавать большую влиятельную газету, — «чего бы это ни стоило». Он давал миллион, надо было еще собрать три. Газета должна была «стать в оппозицию правительству, давать опору общественному мнению, объединить около себя лучших людей», и в то же время «защищать интересы крупной промышленности» и «подогревать патриотизм на продолжение войны до победного конца, чего бы это ни стоило...» Так говорил фабрикант.

«А сам ты, сукин сын, в окопы не идешь. Чего бы ни стоило!.. Сидишь в «Эрмитаже» или в «Сла-

вянском Базаре», — думал Арсений, слушая его. Арсению предложили войти в это «дело», помочь его организовать и потом быть коммерческим директором.

Все части программы ему были безразличны, кроме последней: войны. Враждебность к войне наростала у него.

«Что угодно, только не это безумие дальше».

* * *

Среди гвардии, у Арсения было уже много знакомых. Но он никогда не мог понять военную психику. Теперь, когда вместо блестящих парадов, дежурств во дворцах и полковых празднеств, этим блестящим офицерам пришлось идти действительно в бой, они потеряли даже внешнюю красоту и высокое благородство. От прежнего боевого задора ничего не осталось. Сразу полиняли и даже говорили втихомолку о дворцовом перевороте, видя в нем конец войны.

Среди них был один приятель, лихой кавалерист, в прошлом герой парфорсных охот и в то же время, как исключение, думающий, начитанный...

«Как в тебе уживается это с кавалерийским задором, никак не укладывается у меня в голове», — удивлялся Арсений.

И вот на днях он вернулся с войны — без ноги, на костылях, кашляющий кровью, конченый человек. Встреча была жуткая.

«Будь проклята война!» — не удержался Арсений. И тот ничего не возразил.

Однако, говорить против войны было бы опасно. Война была выгодна. Биржа все лезла вверх, все открывались новые возможности наживы в хаосе крови и денег.

* * *

Оконин, услышавши о миллионной газетной затее, сейчас же поехал в Москву предлагать свою газету. Вложить большие деньги, воспользоваться уже гото-

вым, в десять раз расширить, привлечь все лучшие силы из других газет, создать небывалое, грандиозное, мировую газету...

«Чтобы вино было хорошо, его надо выдерживать в старой бочке», — подумал Оконин взять парадоксом.

Сначала фабрикант и слушать не хотел предложения, ему рисовалось что-то новое, грандиозное. Ничего общего не должно быть с обыкновенной газетой. Но эта фраза Оконина произвела на него впечатление. Одна фраза меняет судьбу людей.

«Какой у вас тираж?»

«Сто пятьдесят две тысячи», — ответил Оконин. Фабрикант мечтал о миллионном тираже, но и сто пятьдесят для начала ему понравилось.

Он вызвал по телефону Арсения и просил его оценить газету. Потом приехать в Москву для решения.

* * *

Оконин водил Арсения по всем помещениям редакции и типографии, показывал книги и отчеты.

Но Арсений заявил, что хочет видеть редакцию и типографию ночью, когда газета печатается, и настоял на своем.

Ужинали у Донона, пили какую-то знаменитую марку. Потом, во втором часу приехали в типографию.

Машины еще не были пущены. Шла приправка, подавались из стереотипной последние полуцилиндры. Арсений прикинул число работающих и почти не сомневался больше, что Оконин лжет. «Не может быть тираж сто пятьдесят тысяч...»

Валов бумаги было больше чем нужно, но это, видимо, было специально приготовлено для него.

Машины загудели. Звонки стали отсчитывать сотни. Арсений вынул часы и прикинул.

«Сотня в восемь секунд. С остановками — в десять секунд. В минуту — шестьсот. В час тридцать шесть тысяч...»

Печатный мастер обратился с каким-то вопросом к Оконину. Арсений в этот момент спросил рабочего у машины.

«Когда кончаете?.. часов в шесть?»

«Нет. Часа полтора печатаем».

«Полтора часа — значит тираж около пятидесяти тысяч!..»

Оконин лгал. Увеличил втрое. Ведомости были взяты за то время, когда газета была в зените.

Оконин сразу сообразил, поймал среди шума ответ рабочего.

«Ты поступил по аристарховски» — резко сказал он, повернулся и пошел из типографии, не прощаясь.

«Как поступил ты, я не назову» — сказал в догонку Арсений. У него от волнения дрожали руки. От Оконина можно было всего ожидать. Идя по коридору к выходу, Арсений достал из заднего кармана маленький браунинг и переложил в карман жилета.

* * *

Возвращался в Петербург в курьерском. С газетой расстроилось. Не было пока трех нужных миллионов.

Когда-то этот курьерский поезд был его мечтой. Студентом, приезжая в Петровско-Разумовский парк, он ночью ходил гулять к мосту на Николаевской дороге и сверху смотрел на пролетающий в вихре искр этот поезд первого класса.

«Там все сановники, придворные... миллионеры», — думал он. — «Когда-нибудь я буду ездить в этом поезде?..»

Смотрел в темное окно. Хотелось увидеть знакомый, со столькими воспоминаниями связанный мост... Он промелькнул, но нельзя было увидеть, стоит-ли сейчас кто-нибудь на мосту — может быть тоже смотрит так и думает, как когда-то он?..

Темным пятном, с мягкими перебоями на стрелках, пронеслись Химки... Тоже рой воспоминаний, уже таких далеких теперь: образы женщин, мечты о богатстве,

Вагон был старый, неудобный, весь из кресел-кроватей.

Проводник пришел делать постели. Арсений прошел в корридор соседнего вагона и столкнулся с Анфисой Воскобойниковой... Он не видел ее десять лет, может быть не узнал бы, но она сама назвала его. Зашли к ней в купэ и проговорили до двух ночи.

* * *

... Старуха Воскобойникова умерла, умер и старший брат, имущество поделили.

«По сколько пришлось?» — спросил безцеремонно Арсений. Но Анфиса не удивилась вопросу, просто ответила:

«По миллиону с лишним». — Только улыбнулась.

«Фабрика досталась братьям, а я просила выделить мне нашу усадьбу. Она бездоходная, так что все охотно согласились...»

Анфиса опять улыбнулась, и улыбка сказала об ее натянутых отношениях с родными.

«А зверинец ваш существует?»

«Да, только зверюшки другие. Старые все поумирали, когда я жила в Швейцарии...»

«Вы долго жили там?.. Одна?!»

«Я там училась. Почти пять лет прожила, с девятьсот шестого года... с реакции».

«С реакции?.. разве вы интересуетесь политикой?»

«А разве политикой можно не интересоваться? Право ездить в первом классе, право на вкусный обед из семи блюд, право на семьдесят лошадей — все политика... Вы помните, у нас было семьдесят выездных лошадей?»

«Как-же, помню!.. Тогда это произвело на меня большое впечатление... Так же читаете Лассаля святым в моленной?»

«Нет, теперь уже не Лассаля — они далеко ушли в курсе социальных наук... Другие книги, и от себя им рассказываю».

«Вы шутите?»

«Нет серьезно... А вы женились наконец? Женили своего родственника?»

«Он умер, так и не успел жениться... Я тоже не женат. А вы?»

«Нет...»

Она вдруг расхохоталась.

«Это я вспомнила сватовство тогдашнее... вы не обижайтесь, но это было так забавно. Он умер не от прогрессивного паралича?»

«Почему вы так думаете?»

«Так мне казалось...»

Арсений не ответил.

* *
*

«Откуда у нее такая наблюдательность? Тогда она была еще девочкой... Не показалось ли ей, что я на нее сейчас имею виды?» — подумал он. — «А в самом деле почему бы не жениться на ней? Почему я, ища жену Гришке, не нашел себе среди тех-же?.. Он был богаче, и все-таки хотел жениться на миллионе... И все наши, Аристарховы, одобряли это — а почему я не сделал этого до сих пор?.. Что я лучше их, что-ли?.. Я любил женщин из-за них самих: те, у которых много денег, очень мало стоят, как женщины... Почему-то всегда так...»

Встал образ Глаши. Ее большие темные глаза, вечно о чем-то глубоко задумавшиеся, даже когда она смеется. Она встретит его на Николаевском вокзале...

«А ведь я люблю Глашу?»...

Анфиса что-то говорила, но он не слышал. Вереница женских образов пронеслась в памяти.

«Любил я кого-нибудь так, как Глашу?.. Нет. Зина?.. К Зине было первое чувство мальчишки, потом привязанность, но не было той страсти, что к Глаше... Тогда я вообще любил женщину, а теперь люблю именно Глашу... Глупая, ненужная страсть...»

* *
*

6*

Когда утром поезд подходил к Петербургу, Арсений опять зашел к Анфисе.

«Я теперь временно буду жить в Петербурге. Заходите ко мне... в «Европейскую» — пригласила она.

Арсений помог ей снять чемоданы с сетки и чуть не уронил один.

«Какой тяжелый... Золото в нем что-ли?»

«Ценнее золота» — засмеялась опять своим тихим смехом Анфиса, и только сейчас Арсений заметил, что она смеется на букву «и» — «хи-хи-хи...»

«Носильщики в фартуках. Жандарм, отдающий честь вагонам первого класса. Два ливрейных лакея с енотовыми воротниками, в цилиндрах. Дама с лорнетом. Опять жандарм... А вот и Глаша! Милая Глаша...»

Глаша почти столкнулась с Анфисой у вагона. Арсений познакомил их:

«Моя племянница... тоже Аристархова».

Пока ждали багаж Анфисы, она разговаривала с Глашей. Прощаясь, что-то сказала ей тихо, что-то любезное. Арсений не расслышал, не обратил внимания.

* *
*

Сегодня был день случайностей. Самых неожиданных.

Отвезя Глашу домой, поехал прямо к Мамону, нужно было сегодня же купить одни акции. Узнал о них в Москве. «Поднимутся вне сомнений...»

В приемной Мамона столкнулся с Сидором Данилычем. Не видались со времени разрыва.

Понятно, Сидор знал все об Арсении. Знал, что оно пошел, уйдя от них, не вниз, а вверх. Это ему было неприятно. Знал в подробностях о делах Аристарховых и Арсений; через общих знакомых, родственников, даже из газет — дела Аристарховых разрослись широко.

Сидор, столкнувшись лицом к лицу с Арсением, на секунду заколебался, но сейчас же решил: по лицу

расплылась радостная улыбка, он протянул руку и ступил навстречу. Так близко, будто хотел обнять и поцеловаться. Предоставил Арсению — сделать это или нет? Арсений это ясно понял, но от поцелуя воздержался.

«Арсений Павлович!.. Вот Бог привел где повстречаться!... Сколько лет, сколько зим невидавшиеся!.. Мало что в прошлом разное тамока могшее конфликтное и нежелательное, в сродственниках состоящие и кровь одна... Кто старое помянёт, тому глаз вон... ваши дела тоже, слыхать, с божей помочью в гору идущие — тьфу, тьфу я не сглажу... Я завсегда говорил, что голова министерская, схватывающая, так оно сказать... мало что высшее, а надоть свою смекалку... Посеянное оно вырастает, а только земля разная бывающая... а Григорий то наш — слыхали должно быть — помёр ён, царство небесное...»

* * *

Сидор сделал на момент печальное лицо, быстро перекрестился два раза и снял пушинку со своего рукава.

Он еще похудел, и его фигура и сюртук от лучшего портного был в полном противоречии с его странным языком и жестами.

«Всякий помирающий, а только тутока все девочки, прости ему Господи Исусе. Оно нехорошо, когда пересаливаемое и злоупотребляемое и тому подобное... Твои труды тоже дарма пропавшие», — перешел Сидор на «ты», — «не женили мальца, так и помёр с кукушкиными яйцами... А вы как, тоже слыхать по прежнему...»

Дверь кабинета отворилась и на пороге появился Мамон. Сидор схватил со стола большой туго набитый портфель и двинулся ему навстречу.

Мамон протянул руку Арсению.

«Пожалуйте, Арсений Павлович...»

«Я подожду» — ответил Арсений — «Это тоже Аристархов, мой родственник. Сидор Данилыч... позвольте познакомить, мы случайно тут у вас встретились...»

«А я подумал вы вместе, когда мне подали карточки... Прошу».

* * *

Сидор сидел в кабинете Мамона долго.

«Рассказывает ему о своем богатстве и ходатайствует о кредите... Может быть, и папку принес ту же самую...» — подумал Арсений. — «Постарел он сильно... Но все-таки какой то неразматываемый клубок энергии. Аристарховская живучесть... Мамон меня наверно спросит об их делах — что сказать? Так же, как они обо мне сказали?.. Нет. Какой от Сидора странный запах — точно ладаном пахнет...»

Перед отъездом в Москву Арсений был по делам у министра. Думал непременно записать и забыл: теперь вспомнил, взял со стола блокнот и написал на клочке:

«От министра пахло тухолью».

Сунул клочок в карман и пришел в хорошее настроение от этой фразы и от того, что он независим теперь от Сидора.

Сидор вышел, застегивая портфель и на ходу говоря:

«Согласно вашему любезнейшему разрешению представим на днях... благоволите рассмотреть и убедиться, что не с потолка хватаемое...»

Он пожал уже руку Мамона, но опять остановился и добавил:

«Позволю себе заметить, что с нами весьма многие, на имя нашей покойной родительницы, миллионные дела имевшие и ничего окромя рекомендательного сказать не могущие...»

Сидор покосился на Арсения и еще раз пожал руку Мамона.

«Гора с горой не сходится, а человек с человеком завсегда сталкивающийся... С божей помочью могит быть и дела совпадающие, на перекрестке так сказать съезжающие и тому подобное...» — сыпал Сидор, держа Арсения за руку, и опять ласковая улыбка была на его лице и он придвинулся так близко, точно опять хотел целоваться.

* * *

«Это ваши родственники?» — спросил Мамон с улыбкой, когда вошли в кабинет.

«У них большие дела, я что-то слышал уже раньше... Странная манера говорить у этого Сидора Даниловича. Занятный тип... Война, говорит, это двоякое — с одной стороны помогающее, с другой — раздевающее, не знаешь, на каком свете стоишь... ха-ха-ха. Он то видимо знает, на каком свете стоит...»

«Он еще смешнее, кажется, стал говорить. Я его лет десять не видел. Хотят открыть у вас учет векселей?.. Можно учитывать, платить будут наверно. Последнюю рубашку снимут, но по векселям заплатят».

«Чью рубашку? Свою или чужую?» — засмеялся Мамон.

XII.

БЕНЕФИС КОРДЕБАЛЕТА.

Первые ряды и ложи бенуара и бельэтажа в первом абонементе балета переходили по наследству. Балетоманы подсчитывали, кто сколько лет сидит на своем месте. Дуайеном был Благово, древний сановник.

«За семьдесят лет помню балет» — говорил он — «меня водили еще восьмилетним мальчиком. Помню Фанни Эльслер, Цукки, Муравьеву... Кшесинская для меня девочка. Все прошли перед глазами. В детских танцах выступали, в кордебалете, солистками, балеринами стали, юбилеи отпраздновали, пенсию выслужили, совсем ушли, а я сижу и сижу, и не пропускаю ни одного балета... «Конька-Горбунка» семьдесят два раза видел».

Арсений давно хлопотал о кресле первого ряда. Во втором, в третьем абонементе — еще можно было перекупить. В первом — ни за что. Предлагал тысячу рублей, но никто не соглашался. А нужно было именно в первом ряду, в первом абонементе... Сидевших в первом ряду знали все: если бы кто-либо продал, была бы сенсация на весь Петербург...

Директор императорских театров обещал Арсению первое освободившееся место.

И вот, наконец, освободилось.

Немца-миллионера, директора десятка заводов, выслали в Сибирь, затравили патриотические газеты. Выслали за немецкую фамилию.

Место перешло к Арсению.

* *
*

Этому помогло и вот что.

Арсений выдумал еще один способ поскорее пролезть «наверх» — издание великосветского альманаха... Пригласил для этого потомка древних скандинавских рыцарей фон-дер-Борга. Фон-дер-Борг был никакой журналист, но зато герб его был сложный, красивый и весьма древний. На альманахе значилось — «издатель Аристархов», «редактор фон-дер-Борг». В действительности все составлял Арсений, вмешиваясь в каждую строчку. Он же диктовал все письма с просьбами сообщить родовую историю. Все знали, что альманах аристарховский. По-

падешь или не попадешь в альманах — зависело от Аристархова...

К настоящим «высшим» было такое предупредительное отношение, так услужливо исполнялись их желания, что всего три или четыре семьи отказались дать сведения. Но потом дали и они.

Именно великосветского альманаха недоставало в России. Только тут все вспомнили об этом громадном пробеле.

«Оттого и революция 1905 года чуть не случилась», — шутил Арсений, — «что не было объединенности у высшего класса. Не были организованы силы».

Находились столбовые люди, принимавшие это всерьез. Молодой Кащеев иронизировал, что Аристархов тратит сорок тысяч на издание альманаха только для того, чтобы включить туда и себя самого. Но Арсений Кащеевых включил, а фамилии Аристархова в альманахе не было.

Это произвело очень хорошее впечатление...

* *
*

Все две тысячи экземпляров разошлись в течение года. Через два года вышло второе «дополненное» издание, и тут уже попасть или не попасть в альманах для многих было вопросом чести и карьеры. Некоторые заискивали, другие предлагали фон-дер-Боргу деньги, но Арсений не позволял исправить ни одной запятой без своего ведома. Один банкир предложил три тысячи за одну строчку с его фамилией. Арсений отказался.

Явились знатные великосветские советчики, своего рода цензоры. Они тоже вдруг поняли важность альманаха. Сотни лет Россия жила только с «бархатной книгой» и никто не догадался, что необходим какой-то устав, который отделил бы ясной линией овец

от козлищ. Тут только все поняли и признали вдруг за Арсением Аристарховым право на такое издание, именно потому, что его самого в альманахе не было...

* * *

Однако, далось не легко. На первые письма ответили очень немногие. Ответили как раз те, кто был менее важен. Пришлось просить сведений лично. Посылал Борга, давал ему деньги на расходы, сшил ему даже новый смокинг. Покупали справки через прислугу или через бедных родственников. Каждой полной справке о настоящей великосветской семье Арсений радовался как победе. Некоторые неполные нарочно переврали и послали с почтительным письмом на проверку. Адресатам ничего не оставалось, как исправить и дополнить, а то все равно напечатают неприятное вранье. Один вельможа пригрозил высылкой из Петербурга, если какие-то там «типы» будут копаться в его родословной!.. Понятно, ни о какой высылке речи быть не могло и запретить напечатать он не мог. С ним не только не поссорились, но редакция написала ему вежливейшее письмо, в котором выражалось сожаление, что могут оказаться неточности в данных о такой знатной фамилии, и потому еще раз почтительнейше просят об исправлении! Был уже приложен оттиск набора, нарочно приготовленного для этого письма.

На этот раз вельможа ответил и прислал чуть не целый фолиант по истории своего рода. Потом, дремля в кресле Яхт-клуба, он с кем то, кто знал Арсения, заговорил об альманахе. Кончилось тем, что Арсений получил приглашение на обед к вельможе и сам вельможа стал принимать деятельное участие в редактировании альманаха и разрешал от его имени обращаться к другим за справками. Даже сам звонил по телефону, рылся в геральдических архивах, а по

одному спорному вопросу о какой-то фамилии самолично поехал в департамент герольдии...

Альманах стал необходимой справочной книгой и для Арсения открылось еще много дверей.

* * *

Первый ряд в первом абонементе — это было посвящение в орден признанных петербуржцев! Это открывало все балетные двери и много других. За балетом стояли сильные мира сего...

Старики капельдинеры знали всех перворядников поименно.

«Здравия желаю, ваше сиятельство!.. ваше высокопревосходительство!» — кланялся бритый старик в ливрее, сушеный гриб, весь в медалях. У капельдинеров был особый запах, как у бабушкиного салопа, пролежавшего десятки лет в пачулях и табачном листе. Они, как и пятьдесят лет тому назад, еще нюхали табак и сочно сморкались в цветной пестрый платок. Сморкались не как нибудь, а с толком, с удовольствием, в самую серединку платка — предварительно встряхнувши и расправивши его на руке. И потом вытирали нос начисто кончиком...

«Честь имею поздравить, Арсений Павлович» — встретил его.

«Откуда вы знаете?» — удивился он.

Капельдинер поморщился, ему не понравилось «вы» — какой же это балетоман?

«Мы осведомлены... Обо всем осведомлены, ваше вашество», — пробурчал он недовольно. «Тоже еще новые пошли — откуда вы знаете!?»

* * *

У Шервин была ложа бенуара во всех трех абонементах. Но сегодня было вне абонемента самый шикарный спектакль сезона — бенефис кордебалета.

Такой блестящей толпы не бывало ни в каком

театре мира. В нью-иоркской опере больше бриллиантов, но нет таких мундиров! Хотя теперь, во время войны, зала была менее шикарна: не видно было гвардейцев. Война всетаки давала себя знать и здесь. Хотя все бывшие тут меньше всего хотели ею интересоваться. Или интересовались, поскольку она могла давать выгоду — ускоренный чин, орден, выловленное в мутной воде теплое местечко, а, главное — деньги, деньги, деньги...

Арсению казалось, что у всех горят глаза алчным огнем и у мужчин, и у женщин. Смутная тревога западала в душу.

«Не хорошо кончится...»

Но только моментами приходила неприятная мысль. Деньги все шли и к нему.

* * *

На бенефис кордебалета Шервин, понятно, оставили ее ложу. Она послала тысячу рублей. С нею сидела Войтинская. Они были уже приятельницами. Они ненавидели одна другую, но не находили слов восхищения, когда говорили одна о другой. Эта манера быстро усваивалась в Петербурге. Вообще в столицах... Вообще на «верхах...»

Шервин нарочно оделась скромно. Только одна нитка жемчуга и жемчужная гребенка в волосах. Во первых, потому, что война, а главное там, напротив, в ложе бенуара сидела Куркина в своих бриллиантах. Как икона. Как риза, усыпанная камнями. У нее тоже был абонемент на все балеты. Все знали, что это бриллианты Благово, и звали Куркину «Благовская богородица».

Благово никогда не сидел с ней в ложе, всегда на своем месте в первом ряду.

С другой стороны, тоже в бенуаре, все смотрели на красивую брюнетку, обвешанную жемчугами.

«На семьсот тысяч!» — подсчитал Грабельщиков. Широкое колье на шее. Длинная крупная нитка спу-

скалась почти до земли. На голове целая диадема из жемчугов, и с левой стороны корсажа еще большой жемчужный бант.

«Ишь, стерва! под орден Екатерины сделала» — добавил он же.

Это была Уралова. Она жила постоянно в Италии и приезжала в Петербург только в зимний сезон, специально для нескольких балетов, чтобы показать свои жемчуга. Здесь, в ее роскошном дворце отделывался умопомрачительный домашний театр. Там она будет выступать в собственных балетах... Никто из балетоманов еще не видел, как она танцует — вообще, танцует ли? Театр был почти закончен, но нельзя было открыть из-за войны. В модном, великосветском журнале уже были напечатаны его снимки. Он будет больше и роскошнее всех других частных театров Петербурга. В стиле модерн. Всюду мрамор. Новейшие машины для световых и звуковых эффектов — таких нет еще ни в одном театре Европы!..

* * *

Бинокли переводились с Куркиной на Уралову, с Ураловой на Шервин. Остальные ложи тоже сверкали бриллиантами, но им было далеко. Шервин не надо было надевать — все знали, что у нее есть — и сколько, и какие.

Баронесса Коль забежала в ложу Шервин. Арсений удивился.

«Каким образом она успела познакомиться?»

«Вы у нас несравненная, единственная... тактичнейшая женщина в мире. Посмотрите, сколько они на себя нацепили!.. Как можно! Кровь льется в траншеях, а они так вырядились» — рассыпалась баронесса.

Она знала, что Шервин не терпит ни ту, ни другую. Она знала, что Шервин каждому улыбается и каждому льстит: она ей улыбалась вдвое и льстила вчетверо. Но Шервин никогда не говорила ни о ком

плохого и за глаза, только самое хорошее, а баронесса за глаза говорила про Шервин:

«Чеширская кошка».

Когда Шервин кто-то анонимно написал об этом, она мило заметила:

«Только, кажется, она неправильно говорит — англичане произносят «чишайр», а не «чешир».

* * *

Декольтэ дам, фраки и мундиры дипломатического корпуса, два великих князя в левой ложе бэль-этажа, и только одна пустая ложа посредине — императорская. Не было эмира бухарского, чтобы посадить его туда...

Настроение у всех приподнятое, праздничное. У всех радостные, улыбающиеся лица, точно совершается что-то громадное, веселое, радостное. Война, миллионы раненых и умирающих, даже забастовки и голодные бунты никого не безпокоили. Сам министр внутренних дел сидел в своем кресле в первом ряду и радостным настроением подтверждал, что все благополучно. Ему сделали специальное кресло, на вершок шире, так как его изумительный таз не влезал в обыкновенное. Еще не было в России министра с таким тазом...

Градоначальник и полицеймейстер театра стояли у барьера и тоже улыбались, оживленно беседуя, тоже подтверждая что все обстоит благополучно.

Арсений стоял рядом с градоначальником и рассматривал в бинокль театральную залу. Он уже видел невидимые нити, протянутые в ней. От кресел к ложам. Из ложи в ложу. Из зрительной залы на сцену...

* * *

Вся зала была опутана этой невидимой паутиной расчета и лжи. Нити тянулись из театра к источникам власти и богатства. Нити далеко расходились...

Как гигантская паутина. Здесь был сейчас один из ее центров...

Не видевшие этих нитей спотыкались о них, запутывались, а он, Арсений, уже уверенно ходил между ними и даже дергал то одну, то другую. Даже сталкивал на нити не видевших, чтобы самому было свободнее. Он уже сам протягивал эти нити... Многие другие из бывших тут ходили в этой паутине так же уверенно, и видевшие старались не становиться друг другу на дороге. Для видящих они были руководящими, для не видящих — препятствиями, часто гибельными...

И чем дольше он жил тут, в Петербурге, тем больше начинал видеть этих нитей — еще недавно невидимые, теперь они становились резко прочерченными. И все удобнее было ходить по мере того, как паутина становилась гуще: она задерживала других, а его пропускала...

И такими наивными, глупыми и слепыми казались теперь те, кто ее не видел...

* * *

Чтобы глубоко задуматься, сосредоточиться, люди ищут уединения, уходят в тихие уголки. У Арсения было наоборот: особенно напрягалась мысль в толпе, в шуме, в движении, среди говора, музыки. Он вдруг начинал не замечать окружающего и тут ему в голову приходили наиболее удачные мысли, проэкты, идеи... Или с ним бывало, что он внимательно слушал когонибудь, и вдруг мысль цеплялась за что-либо сказанное и напряженно начинала работать в этом направлении, и он уже больше не слышал говорившего, не понимал, что тот говорит, хотя смотрел ему в глаза, и собеседник думал, что его внимательно слушают... Иногда это замечали, но не сердились. Люди падки на всякую оригинальность, шаблоны скучны. А затем — есть ступеньки общественной лестницы, стоящим

на которых уже прощают многое — Арсений уже добрался до этих ступенек.

Арсению вдруг показалось, что вот совсем около него проходит такая нить, и он протянул руку, чтобы достать ее. Но рука ничего не ощутила...

* * *

Князь Алексей, только что обедавший у Шервин, сидел теперь в левой императорской ложе, полузакрытый портьерой, и считал неудобным смотреть на ее ложу.

Мамон знал, что Войтинская сидит с Шервин, но тоже боялся посмотреть, — не знал, удобно ли поклониться.

Благово не шел в ложу Куркиной.

Муж Лялички, ревновавший ее ко всем, уже нервничал, что она так долго не возвращается из-за кулис, а там князь Юрий...

Несколько человек, сидевших в партере, ловили взгляд Мамона, чтобы ему поклониться. Другие караулили, когда он выйдет из ложи, чтобы перехватить его и спросить о завтрашней бирже. Или попросить купить бумаги без задатка...

Подношения начались в первом антракте. Во втором шли снова. Цветы, вазы, драгоценности, сервизы, просто деньги. Больше всего цветов — корзины, букеты, снопы, лиры, венки. Цветы выносили из-за кулис и подавали из оркестра. Вся сцена была заставлена уже цветами. Сцена благоухала, и среди цветов двигались приседая и склоняясь изящные фигурки танцовщиц, и от каждой из них протянулась ниточка в зрительную залу...

* * *

Арсений пошел к выходу, где стоял Грабельщиков, разговаривая с банкиром. Грабельщиков за последнее время интриговал против него. В редакции на

Арсения косились, и он не мог понять причины, хотя знал, что это — дело Грабельщикова. Надо было принять меры, надо было немедленно ответить ему более серьезной неприятностью или же подачкой. Еще не остановившись ни на том, ни на другим, он подошел к нему

«Хотите заработать?» — спросил он мимоходом, вдруг придя к решению.

«По мелочам не берем», — ответил тот.

«Кроме шуток... Хотите завтра запишу вас в выпуск Беломорских?»

«Каких?»

«Все равно каких. На ста штуках по десяти рублей получите в одну биржу».

«Это кто вам делает? Мамон... Я вот ему готовлю пилюлю, на днях проглотит», — смеясь ответил Грабельщиков.

«Смотрите, не ошибитесь, Грабельщиков. Третьего дня я познакомил Мамона с Кащеевым».

«У Войтинской!» — невольно вырвалось у Грабельщикова. Он об этом не знал. Его передернуло, но он продолжал улыбаться. «А за что тысячу, Аристархочка?»

«За то, что я вас люблю, Грабельщиков... За то, что вы бог цинизма».

«Я вас тоже, Аристархочка, люблю... Так завтра деньги?.. Ладно. Вот что: будьте осторожны — Кащееву не нравятся ваши отношения с Войтинской».

* * *

Арсений направился в ложу Мамона.

Вот где разгадка! Грабельщкиов распустил в редакции сплетню об его близости к Войтинской, сделал так чтобы дошло до старика, может быть, написал анонимное письмо... Тренированная и чуткая на всякий шантаж редакция бойкотирует его, чтобы сделать угодное хозяину. Может быть, считает его уже похороненным, как сотрудника?.. Ему не важно, понят-

но, это сотрудничество, но всетаки разрыв с «Русской Газетой» был бы пока неприятен, это могло бы коегде помешать... Разумеется, это не то, что два года назад, теперь он уже видит паутину и сам плетет ее. Но всетаки еще рано уходить...

«Сегодня же надо принять меры. Вот негодяй! Хорошо, что предложил ему подачку...» Арсений помнил, как Грабельщиков говорил ему, еще новичку тогда:

«Как только полезете выше, будут тянуть за ногу вниз... Одному ногой в зубы, другому — булочку с маслом. Иначе стянут, как крепко ни держитесь...»

* *
*

В ложе Мамона сидел другой биржевик с расплывшейся как река в половодье женой.

Она уже привыкла, что ей все целуют руку, и сама предупредительно совала ее к губам. Она рассказывала, какой удивительный обед они «кушали» вчера у «светлейшего князя»...

Арсений позвал Мамона покурить в «полицеймейстерскую», своего рода клуб завсегдатаев. Но пошли прямо в ложу Шервин.

«Вы хорошо знакомы с Львом Александровичем?» — спросил Мамон, когда проходили по коридору и Мамон раскланивался и жал руки направо и налево. Некоторые старались задержать его руку, чтобы поговорить, но он, будто не замечая этого, быстро вошел в аван-ложу Шервин. Арсений успел ответить:

«Да... довольно хорошо... с его женой».

«Так мне желательно поговорить об одном хорошем деле... Может быть, зайдете опять к нам в следующем антракте?».

Арсению хотелось, чтобы его увидели с Шервин, и он остался, когда подняли занавес, и просидел у нее целый акт. Он сидел за ее креслом, совсем вплотную к ее обнаженной спине, и не скрывал того, что он ее

нюхает. Шервин знала об этом и все время хихикала, оборачиваясь:

«Мне щекотно, Аристархов...»

Уходя, он шепнул Войтинской:

«Можно тебя поехать провожать?.. Я буду ждать на подъезде с правой стороны».

Та кивнула головой.

* * *

В ложе Мамона просидел следующий антракт и часть акта.

...Один из петербургских заводов покупал громадное металлургическое дело на юге России, принадлежавшее до сих пор англичанам, и должен был уплатить за него двадцать восемь миллионов рублей. Покупку эту считали в финансовых кругах крайне выгодной, ценили дело по крайней мере в пятьдесят миллионов, и под влиянием этих слухов акции петербургского завода в течение недели поднялись с 90 рублей до 150. Но затем на бирже распространился слух, что совет министров не разрешит эту покупку, так как уплата такой большой суммы в иностранной валюте может неблагоприятно отразиться на курсе рубля. Под влиянием этих слухов акции упали снова до 120...

Послезавтра дело должно было рассматриваться в совете министров. Если покупка не будет разрешена, то акции упадут до 80-90. Если же совет министров утвердит, то могут в одну биржу подняться до 250. Лев Александрович (министр финансов) докладывает это дело, и он, понятно, знает, пройдет ли оно или нет. Если узнать еще мнение Николая Карловича, то можно быть совершенно уверенным и купить или продать большую партию акций, заработав наверняка несколько сот тысяч...

К Николаю Карловичу Арсений хода не имел, но там можно было узнать через Шервин или Войтинскую.

«Кажется, Манечка с ним знакома? Кажется, он у нее был даже дома? Что-то она о нем говорила?.. Если не Манечка, то Шервин через князя Алексея...»

Условились, что завтра с утра Арсений займется этим делом и к вечерней бирже сообщит, что узнает.

«А для вас я запишу тысячу штук», — расщедрился Мамон.

* * *

Идя к себе на место, давно желанное, такое приятное кресло первого ряда, Арсений подсчитывал возможную сумму заработка. Так просто и быстро сто десять тысяч рублей!

Ему вспомнился вечер в «Стрельне», в ахаевском кабинете, двадцать пять рублей за уроки кристаллографии, пережитое за них унижение, Зина и ее князь... Промелькнуло детство, когда он выторговывал две сказки за три копейки и покупал за копейку апельсин с пятнышком и на копейку халвы белой и красной... Теперь все это казалось далеким сном, и этого сна, в особенности детства, совсем не было жалко...

«Деньги... Деньги! Великая сила, могущество, счастье, радость жизни...»

Возвращаясь в своем новом лимузине с Войтинской, он передал ей разговор с Грабельщиковым. Она взволновалась.

«Я этому старому шантажисту не прощу... Прямо старику сказать нельзя, он не терпит жалоб. Я иначе сделаю: я про него самого такую пущу сплетню, что он долго не опомнится, даром, что двадцать лет сидит в газете».

«А что ты скажешь?»

«Еще не знаю. Выдумаю... Я его выучу! Он может копаться под тебя, это у вас там в редакции за милое дело принято, но он не смеет трогать меня. Не по плечу дерево рубит. Ты негодяй, Арсений», — она хлопнула его по руке перчаткой. — «Это ты, негодяй,

сделал меня такой дрянью. Но зато теперь я умею жить среди таких, как ты, — все вы такие...»

Арсений поцеловал ее.

* * *

«Манечка, у меня другое дело к тебе... Слушай внимательно. Ты знакома с Николаем Карловичем?»

«Зачем тебе понадобилась эта старая песочница?»

«Вот слушай», — и он передал ей разговор с Мамоном, не упоминая о Льве Александровиче.

«Если ты можешь как-нибудь завтра повидать его и узнать его мнение по этому делу, понятно умно, чтобы он не догадался, — мы заработаем с тобой по двадцати тысяч».

«Ты наверное сто заработаешь, а мне дашь двадцать, я ведь тебя хорошо знаю... Как я его могу завтра увидеть?.. Разве поехать к его жене просить ее быть председательницей нашего комитета по базару. Хотя это смешно: причем она тут? Театр и государственный контроль... Позвать Нелли и пригласить его ужинать? Ведь эта старая обезьяна влюблена в нее. Он у меня был, чтобы с ней встретиться. К ней он не может заехать, боится мужа... Но ты должен будешь сделать ей подарок, слышишь. Не коробку ивановских конфет, а подарок».

«Я согласен, Манечка».

Войтинская сняла разговорную трубку, пискнула в нее маленькой грушей и велела шофферу остановиться.

«Вылезай, мы уже подъезжаем к дому... То есть наоборот, не ты вылезай, а я вылезу, — я совсем забыла, что я в твоем автомобиле!» — и она быстро пересела в свой, ехавший сзади.

«Надо быть осторожней, пока я не приняла мер... Прощай, дрянь полосатая...»

XIII.

В РЕДАКЦИИ «ВЕЧЕРНЕЙ ГАЗЕТЫ».

«Аристархов!.. а коньяк есть?»

«Арсений Павлович! привезли коньяк?»

«Опять вместо коньяку финскую бурду... Ну и жила вы американская, Аристархов...»

«Сколько бутылок?..»

Два больших стола были завалены рукописями. гранками, уже сверстанными полосами, порванной и смятой бумагой. В беспорядке стояли всюду рюмки, стаканы, чашки с кофе. Было залито, засыпано окурками, пеплом... Дым, испарения коньяку и виски, запах жареной капусты.

На диване, в углу прислонилась гора тарелок с объедками кулебяки и тоже на диване лежали рюмки, стаканы и бутылки. На полу стояла лужа красного вина...

На этом же громадном бархатном диване, засаленном и залитом, валялось двое — в том числе Кащеев-сын.

Привозить коньяк приходилось каждую неделю. Так делал каждый из сотрудников, но с Аристархова требовали в особенности. Даже не облекалось в форму шутки — было определенное требование: если бы его не исполнить, статьи не печатались бы или могла появиться какая-нибудь неприятная заметка...

Пили каждый день, но в особенных случаях пили сугубо, и из соседней кондитерской доставлялась кулебяка. Сегодня кулебякой угощал Петечка по случаю своих именин. Именины у него бывали несколько раз в год. И много других случаев для кулебяки и коньяку.

* * *

Кащеев-сын пил больше всех. Утром, прямо натощак, начиналось с эля, потом шел коньяк, потом «мумм», потом за завтраком водка... И опять все сна-

чала. Не пили только ликеров — пьяницы не любят сладкого.

Алкоголь с начала войны был запрещен. Нужно было разрешение доктора и полиции. Редакционный доктор давал разрешения, а свой пристав, местного участка, скреплял их в неограниченном количестве. За это никакой полицейский скандал в его участке не попадал в газету.

С лечебной целью прописывались коньяк, шампанское, эль, виски. Но платили за алкоголь всегда сотрудники. В убытке они не были: возмещалось авансами или «экстренными расходами». Получить записочку с подписью редактора, надо было выбирать подходящий момент. Если нужен был аванс побольше, то сотрудник накануне объявлял себя именинником.

Арсений пробовал уклоняться от этих приношений.

«Холопство какое-то... Что это за дары феодалу?!..»

Но ссориться было невыгодно. С приношениями было спокойнее — никто не тронет, вступятся, «свой брат Афанасий»...

Продолжал привозить.

* * *

Метранпаж принес последнюю полосу. Кто-то на нее взглянул мимоходом и большим росчерком синего карандаша исправил для очистки совести одну букву. Сверстано было небрежно, как попало: верстал метранпаж по своему усмотрению — выпускающий был занят кулебякой.

Кащеев-сын посмотрел мельком на полосу и щелкнул пальцами:

«Наложили по первое число этому дяде... Завтра вышлют...»

«Дядя» он был потому, что носил немецкую фамилию. Всех, носивших немецкие фамилии и не заплативших во время одному из сотрудников, неизбежно травили. Постепенно, одного за другим, каждый день нового. Если не действовала одна заметка, писали

еще и еще. Но иногда вдруг появлялось опровергающее «разяснение».

«Сколько дадено?» — спрашивали тогда стоящие подальше от святая святых.

Администрация охотно отзывалась на эту травлю: разруху, бессистемность, халатность, все ухудшающееся положение на фронте и в тылу вымещали на немецких фамилиях.

Сначала отдельными справками и звонками по телефону, а дальше уже совсем откровенно установились сношения редакции с контр-разведкой. Когда фактов не было ни у контр-разведки, ни у редакции, их приходилось выдумывать.

* *
*

Появилась гитара.

Додо, много уже выпивший, и сейчас еще прихлебывавший коньяк из стакана, но все-таки не пьяный, мурлыкал новый романс своего сочинения. Злободневные слова на модную музыку. Неприемлемые для печати. Романс напоминал известную эротическую азбуку — каждый куплет был посвящен кому-либо из членов правительства или видных петербуржцев.

На днях одному из представителей фешенебельного Петербурга публично дали пощечину — это было уже в куплете. Вчера появился слух, что видного банкира-еврея обвиняют чуть ли не в шпионаже, и что ему предстоит высылка — это было в куплете, сдобренное неудобосказуемыми словами...

Было и про Николая II и про Николая III, но этот куплет вполголоса.

«Додо, сядь в колечко», — остановил добродушно, но строго Кащеев-сын. Кащеев-сын ездил в Царское подносить иконы и портреты царице, но велась осторожная интрига против «немцев» за Николая Николаевича. Телеграммы Николая Николаевича, ответы на верноподданнические поздравления, висели в рамках над креслом редактора. Но в пьяном куплете не-

уместно касаться столь высоких сфер. Кащеев-сын помнил всегда, как бы пьян он ни был, что они, Кащеевы, вершат судьбы России...

* * *

Вошел Грабельщиков.

Чьи именины?»

«Петичкины».

«Наливайте мумму за процветание Петички. Мумм мерзавец из немцов, но марка хорошая... Чей коньяк? Аристарховский... Вы мало, господа, с Аристархова берете, он второй миллион заканчивает... Да здравствует общение прессы с капиталом... Аристархов, дайте взаймы пятьсот рублей!»

Арсений, хотя привык тут к любому цинизму, был удивлен. На прошлой неделе Грабельщиков взял у него тоже пятьсот и выдал чек, а в банке заявили, что уже два года, как такого счета не существует. Несколько раз встречались после того, но Грабельщиков даже не вспомнил...

«Вы, Аристархочка, удивляетесь, кажется?.. Вы у нас застенчивый, как красная девица. Не стесняйтесь — я вам пятьсот уже должен... Петичка тоже наверное вам должен?.. Разница между мной и Петичкой в том, что Петичка никогда не отдает, но извиняется и обещает отдать, а я тоже не отдаю, но зато никогда и не извиняюсь и не обещаю...»

Одобрительно засмеялись и стали чокаться с Грабельщиковым.

* * *

Подошел Додо:

«Грабельщиков, ты... ты, величина!» — и поцеловал его в лысину.

Кащеев-сын позвонил курьера:

«Где Жулбин? Спросите его, звонили ли с Николаевского насчет лошадей... Почему так долго нет?»

Курьер побежал исполнять поручение.

Ждали лошадей Кащеева-сына из Москвы. Они вчера бежали там на бегах, и одна взяла первый приз. По этому поводу вчера была грандиозная попойка до семи утра, на этот раз на счет самого Кащеева. Сначала в редакции, потом у «Медведя», потом в «Вилле Роде», потом в «Самарканде».

Должен был сейчас приехать Соков, управляющий конюшней и наездник, герой приза. Вчера с утра редакционный московский телефон был соединен с бегами, так что московскую хронику не успели передать. Стенографистки сидели без дела.

Лошади содержались за счет экстренных расходов по редакции, и время от времени Грабельщиков устраивал учеты в банках. Кащеев-сын уже не раз предлагал Арсению участие в конюшне, но тот отказывался. Это натянуло отношения.

Курьер прибежал доложить, что Соков телефонировал только что с вокзал. Сейчас будет...

* * *

Тут же был и Джимми.

Возраст этого человека, равно как и национальность, были загадкой. Говорили, что он австралийский еврей, другие — что он венгерец, родившийся в Мексике!.. Кожа плотно облегала сухие мускулы лица, чисто выбритого, неподвижного, как мумия. «Тысяча второе воплощение Будды», — сказал как-то о нем Додо.

За глаза все звали его Джимми, многие не знали даже фамилии.

Арсений был знаком с ним давно, но он стал ему особенно интересен в последнее время. Месяца два тому назад редакция «Русской Газеты» устраивала прием для иностранных журналистов. Были представители пяти-шести стран и Джимми выступил переводчиком: оказалось, что он знает все эти языки...

Всего несколько дней тому назад в низке у Кюба за завтраком начальник сыскной полиции, только что

произведенный в генералы, рассказывал Арсению тоже о Джимми. Недавно покончил самоубийством кассир одного из больших банков. Джимми жил с ним в одной квартире. Расследование установило растрату шестидесяти тысяч рублей банковских денег. Денег нигде не нашли.

«Для нас почти несомненно, что это не самоубийство, а убийство», — сказал начальник полиции. — «Почти несомненно это дело рук Джимми. Исключительно ловкий человек... Помните убийство ростовщика Гуревича. Из его несгораемого шкафа были выкрадены какие то векселя и в числе их, по нашим сведениям, были векселя Джимми... Но никаких неоспоримых улик нет, мы даже не могли произвести у него обыска... Припоминаете, во время японской войны что о нем говорили? Он находился в Порт-Артуре и во время осады вдруг оттуда исчез. Его сочли тогда японским шпионом, а потом оказалось, что японцы сами предлагали за его голову десять тысяч иен...»

Джимми чувствовал себя в редакции, как дома. Он просматривал валявшиеся на столе телеграммы, сам наливал себе шампанское. С Кащеевым он был на «ты». С Грабельщиковым у него были какие то дела...

* * *

«Ваше превосходительство, соблаговолите чашечку кофейку», — остановил Грабельщиков пробегавшего мимо маленького, лысенького человечка. Человечек был действительный статский советник, Никодим Никодимович Жулбин. Когда-то он был важной персоной в департаменте полиции, но должен был уйти изза громкой «истории с бриллиантовым колье». По одной версии взятку взял он для высшего начальства, но она по дороге застряла у него в кармане; по другой — он был просто козлом отпущения и, спасши высшее начальство, сохранил самые лучшие отношения в месте бывшего служения, чем нередко пользовался. В редакции он занимался варкой кофе в большом патен-

тованном кофейнике со свистком. Вечно суетился. Всегда у него был такой вид, точно ждет сотня важнейших дел. Все ели кулебяку, а он бегал, спешил, то появлялся, то исчезал... Обязанностью его была только варка кофе, но так как все были заняты, то он вел еще переговоры с посетителями в приемной.

«Говорить с редактором, к сожалению, нельзя... У него заседание», — объяснял он посетителям по срочным делам.

Фамилия его была старая, столбовая, и она, равно как и чин, помогала в делах. Но Грабельщиков, чем-то обиженный, рассказывал:

«Тонкая штучка, Никодим Никодимович... Я както в провинции познакомился с его братом, скромным учителем, с уклоном в социализм. Очень плакался на братца... Как же, говорит, помилуйте — мало, что взятки брал, и со службы уволили — у себя самого, из собственной фамилии букви украл!.. Ведь мы Жулябины, сто лет Жулябины, а не Жулбины...»

Посетители дальше Никодима Никодимовича не попадали. На этом он строил свои комбинации. Комбинации иногда были хлебные...

* *

Вошел гость, чужой журналист.

Едкий, остроумный, циничный, на редкость занятный собеседник. С ним не могло быть скучно, даже когда он ворчал и брюзжал, жалуясь на подагру и несварение желудка.

Он говорил тихо, как будто колеблясь и сомневаясь. Подносил руку к своим маленьким усикам, складывал пальцы так, как будто хотел перекреститься и разгладить усы, но останавливал руку на полдороге, не дотрагивался до усов, а тихонько тряс пальцы у самого рта, еще больше подчеркивая свое волнение...

Эта привычка, может быть, осталась от дней слабости, неизвестности и он не менял ее. А может быть, не замечал. В то же время собеседники с почтением

или боязнью прислушивались к его словам. Они знали, что своей завтрашней талантливой статьей в его большой газете он может испортить целую карьеру или, наоборот, сделать человека почти знаменитостью.. Может помешать большому делу или, наоборот, помочь ему — как ему вздумается...

И чем тише он говорил и чем больше, казалось, колебался, тем более зловещим признаком это было. В это время он обдумывал ядовитейшие фразы для завтрашней статьи.

Выискивание остроумных словечек и крылатых фраз было его манией, религией. За остроумный каламбур он готов был компрометировать самого себя, облаял бы любимую женщину.

«Я раб кончика своего пера», — признавался он.

Об его фельетонах говорили. Цитировали их в гостиных и в министерствах.

Выше всего ценил он деньги. И как раз за острые фразы давали деньги — и за те, что были напечатаны, и особенно за те, что не были...

Один видный министр поверял ему свои тайны и горести. Другой связан был с ним денежными расчетами. Остальные побаивались его едкого злобного пера.

Особенно он специализировался на разоблачениях банковско-биржевых комбинаций и это сделало ему уже капитал. Фамилия его была Маркус, и Грабельщиков говорил о нем:

«Даже в твоей фамилии «Маркус» что-то зловещее... «Мар» — марать, компрометировать... «Кус» — кусать... Ха-ха-ха...»

Маркус не обижался, принимал это, как должное. С Грабельщиковым они были конкуррентами, но внешне приятелями.

«Привет, талантливому!» — встретил его Додо. — «Вот, кстати, у меня есть для тебя блестящая тема...»

«Бойся данайцев и дары приносящих», — парировал Маркус. — «Угостите лучше шампанским...»

Ему налили большую пивную кружку мумма.

«Именины именинами, а дело делом. Уделите мне пять минут», — обратился Грабельщиков к Кащееву-сыну. Они отошли в дальний угол.

...Дело шло о Розенштейне. Его хотят выслать из Петербурга. Виноват он столько же, сколько и остальные, а может быть и меньше... Но вопрос в том что кащеевские газеты должны вступиться за него...

«За этого жидовского спекулянта?!..» — сделал большие глаза Кащеев-сын.

«Да, приходится... Я говорил уже с папой. Он состоит директором Московского банка, и там у нас на будущей неделе учет в триста тысяч... Мы не можем обойтись без него до подписки...»

В другом конце комнаты раздалось дружное «ура», и вошедшего Сокова стали качать. Он подошел пожать руку Кащееву-сыну. Потом залпом выпил два бокала мумма.

«Эта сволочь Тележкин на самом финише прижал... Я думал — конец... Я его потом при всех такой четырехэтажной обложил, что он только вытирался. Надо было, собственно, морду побить... Понимаете, так его растак, ехал все время на два аршина влево, а тут кроссинг... Но со мной это не пройдет, так твою растак...»

В воздухе висела четырехэтажная ругань. Соков каждую фразу сдабривал такой матерщиной, что сунувшаяся, было, в редакторскую стенографистка закрыла лицо руками. Но продолжала стоять и слушать.

«Симочка, душечка моя!.. Иди сюда, я тебя расцелую», — схватил ее за руку Соков. Но та вырвалась и убежала из комнаты.

* * *

Через минуты две она опять явилась, и опять попала на матерщину Сокова.

«Срочная телефонограмма из Москвы...»

«Ничего нет срочного... Бега кончились... Иди

сюда, Симочка, душечка», — снова облапил ее Соков. Выслали Никодим Никодимовича узнать, в чем дело.

Центром внимания был Соков, вчерашний приз, кроссинг Тележкина...

И до прихода Сокова разговор не отличался избранностью выражений, а теперь он состоял почти исключительно из неудобопроизносимых слов. У Сокова была своя манера выговаривать их — отчетливо, ясно, полностью, со смаком. При этом он руками изображал слово, поскольку это было возможно. Он в этих жестах достиг большого совершенства. Соков сыпал анекдотами и рассказывал их так, что даже приличные выходили неприличными...

Момус, редакционный карикатурист нарисовал красками шарж на Сокова: лицо Сокова состояло из графических изображений его любимых слов. Шарж висел на стене, но не на той, где высочайшие телеграммы.

«Я вижу, с вами теперь не сговоришься», — махнул рукой Грабельщиков. Они вместе с Арсением вышли из редакторской.

* * *

«Куда вы сейчас? Подвезти вас?» — предложил Арсений. Автомобиль ждал у подъезда.

«Что ж, подвезите, автомобиль у вас превосходный... Вы умный человек, Арсений Павлович», — вдруг изменил тон Грабельщиков, зажигая папиросу об электрическую зажигалку и разглядывая внутренность автомобиля.

«Хорошая обивка... Мы мечемся, рвем, но все по мелочи. Гроши, а у вас скоро настоящих два миллиона».

«Вы считали?»

«Да, считал... Я настоящий миллион узнаю издали по запаху. Я давно вас изучаю — умный... Миллионы бывают настоящие и не настоящие. И умные люди тоже есть настоящие и не настоящие... Вы, ка-

жется, настоящий... Не знаю еще, как кончите, а пока все в порядке. У нас, у некоторых, такой вид, что одним толчком, кажется, сокрушим все банковые кладовые и ампошируем содержимое. А в результате шиш!.. Ну, десяток тысяч... Я двадцать лет озорствую в сем благословенном граде, и что же у меня. — едва сотня тысяч, да и то в имуществе не столь удобно реализуемом... Концессия наша до конца войны гроша не стоит. Я вам должен пятьсот рублей, это пустяки, я, может быть, вам их отдам, чтобы другой раз занять побольше, но мне не нравится ваше отношение. Почему вы, чорт возьми, не возмущаетесь тем, как я у вас их так взял? Плюете?.. Нет, вероятно, думаете, что со мной не стоит ссориться, потому?.. Со мной из-за этого не поссоритесь. Со мной можно поссориться только тогда, когда я сам хочу, когда мне нужно поссориться... И всетаки настоящие миллионы, чорт вас возьми. А еще провинциал...»

«А вы считаете, что я все еще провинциал?»

«Кое что осталось... Хотя бы вот эта боязнь всех и каждого. Это провинциализм — чем с людьми наглее, тем они лучше. Нужен наскок. Это не только с женщинами — когда ждешь сцены, устраивай ее сам первый. Так со всеми надо... Самая неправильная теория: я никого не трогаю, и меня, пожалуйста, не троньте. Нет, именно надо всех трогать — тогда расступаются и дают дорогу... Однако, приехали... До свидания».

* *
*

Уже открывши дверь и ступивши на подножку, Грабельщиков обернулся:

«Да, хотел вас спросить: вы знакомы с Розенштейном?»

«Знаком».

«Мне нужно бы с вами по этому делу поговорить. Давайте встретимся завтра у Кюба. Когда вы можете? Часа в два...»

От дела Розенштейна пахло хорошими деньгами. Нужно было помешать высылке, взявши за это хороший куш. Аристархов мог помешать, оказавши давление через Шервин, и этого опасался Грабельщиков — он остался бы тогда ни при чем.

«Этот гусь, Маркус, тоже заходил понюхать, чем пахнет... Знаю я его — все забрал бы. Только руки коротки», — добавил уже на тротуаре Грабельщиков.

XIV.

КОМБИНАЦИИ.

A trompeur — trompeur et demy.
Charles d'Orleans.

За завтраком у Кюба условились действовать заодно в деле Розенштейна. Грабельщиков должен был переговорить с ним и прямо от Кюба поехал к нему в банк. Когда Розенштейн узнал, что от него требуют учета в триста тысяч и, кроме того, за посредничество сто тысяч, он замахал руками.

«Что вы думаете, я сам печатаю деньги?! Четыреста тысяч! — Хорошие шутки!.. Что скажут другие директора?.. Учесть Кащееву, все равно, что холере дать, — приди спросить обратно, она тебя хватит... Я могу дать двадцать тысяч... Ну так, скажем, я могу дать пятьдесят, чтобы на меня не лаяли... Четыреста — хорошие шутки! Потом еще вопрос: — сегодня дам, а завтра меня всетаки вышлют. Где гарантия?.. Я лучше Распутину дам, и все будет сделано».

* * *

Прошло два дня. Приближался момент, когда Кащееву во что бы то ни стало нужно было триста тысяч. Слухи о высылке Розенштейна крепли.

Арсению не хотелось упустить это дело.

«Нужна какя-то комбинация. Какая?.. Нужно мыслить логично — что такое комбинация вообще? Комбинация сводит к одному знаменателю различные часто противоположные интересы людей. Надо так их свести, чтобы было для всех приемлемо. Поставить себя на место каждого и обсудить его выгоды как свои. На какие крайние уступки он может пойти, всетаки оставаясь в выигрыше от комбинации... Понятно, денежная выгода прежде всего, но у некоторых можно сыграть и на честолюбии, у других — на желании подложить свинью конкурренту или врагу, у третьих — женщина... Друзей можно легко переделывать во врагов. Впрочем, возможно и обратное, когда сойдутся интересы... Каждому надо выяснить его интересы и объяснить, чего не понимает противная сторона; противной стороне надо сказать обратное. Комбинация была бы невозможна, если бы со всеми говорить вместе: надо с каждым порознь, каждому сказать что-нибудь, чего не знает другой... А когда соберутся вместе, надо говорить еще третье, новое, совсем не то, что говорилось каждому в отдельности... И каждый будет понимать по своему, думая, что он только знает настоящую, закулисную сторону дела! Некоторые всетаки поймут, что все подтасовано, но не знают точно, как именно. Им важно, чтобы комбинация состоялась, и они будут нарочно наивничать...

В комбинации не должно быть ровно ничего выходящего из рамок законности — иначе это не комбинация, а мошенничество! Все по закону — законы дают и без того широкие возможности.

Понятно, все участники комбинации должны что-нибудь получить. Хотя бы за счет ею же созданных призрачных ценностей!..»

* * *

Арсений провел вечер с Глашей. На следующий день явилась идея сама собой, откуда-то выскочила, из подсознания.

«Было ли тут самовнушение или действительно прямое влияние присутствия Глаши, но результат несомненен...»

Арсений отдавал себе ясный отчет в этом влиянии. Бросая ради нее дела, он находил и разумное оправдание этому. Он бросал бы, впрочем, и без этого оправдания. Ему нужны были ее глаза, нужны были лучи ее тела, прикосновения ее руки, ее поцелуи...

«Какая это удача, влюбиться!.. Но это совсем не так просто, не так часто бывает... В том возрасте, когда это так благодетельно, это так трудно. И чем человек духовно выше, тем труднее... Не было бы великих произведений без влюбленности... Милая Глаша! милая моя девочка, как хорошо, что я люблю тебя...»

* * *

«Русская Газета» вела все время антисемитскую политику, евреев травили прямо или косвенно в каждом номере. Инсинуировали по поводу общей нелойяльности евреев...

Дело Розенштейна было предлогом, но можно было привязать к нему некоторое общее изменение внутренней политики — прекратить эту травлю...

«Помимо того, что тут заработок — цель положительная... Если можно достигнуть ее даже кого-нибудь смазавши и толкнувши по дороге, и тогда хорошо... Что, если бы дать Кащееву деньги, но потребовать гарантию, что травля прекратится?.. Такое изменение фронта влиятельной газеты несомненно окажет влияние на правящие круги. Теперь, во время войны, не место этой травле, даже с его точки зрения... Надо идти на уступки и компромиссы, правительству нужны деньги, нужны симпатии общества...»

Арсений поговорил с Мамоном, подойдя к вопросу осторожно, издалека. Поговорил еще с одним бога-

тым евреем. И Мамону, и другому очень мало было дела до еврейского вопроса, но на этом можно построить свою популярность в известных кругах, можно потом создать новую комбинацию благодаря этой популярности.

«Деньги они дадут не свои, а банковские, и векселя Кащеева будут стоять в балансе до второго пришествия. Кащееву дадут триста тысяч в виде учета. Нужно его уверить, что никогда их платить не придется — будут все время переучитывать. Кащеев должен дать гарантию, что его издания прекратят травлю. Но, разумеется, что стоит такая гарантия?.. Розенштейн даст сто тысяч от своего банка, остальные триста нужно собрать среди других, и от дела останется сто тысяч за посредничество и идею...»

«Понятно, все не так просто — много разных препятствий и мелких затруднений. Все надо еще обдумать...»

* * *

Арсений рассказал свой план Грабельщикову.

«Старик не согласится», — почесал тот переносицу. Но потом начал обдумывать. Триста тысяч нужны до зарезу, не на что купить бумаги. Колоссальные траты кащеевской семьи съедают все, никаких доходов не хватает: сначала берут из кассы деньги на свои траты, а потом уже думают о газете. Чтобы избежать катастрофы, огласки — Кащеев должен согласиться...

Сегодня же он переговорит со стариком, а Арсений вечером будет у Шервин и постарается узнать мнение великих князей, если будет удобно завести такой разговор: — «Как отнесутся к этому вопросу в придворных сферах?»... Там тоже некоторый поворот. Некоторым великим тоже нужны деньги, надо обращаться в банки, — а в банках евреи... И для войны нужны деньги — а около мирового капитала евреи...

Для «Русской Газеты» как раз удобный момент

изменить фронт: прежняя политика становится невыгодной.

Позвонил Шервин.

«Милая Феликса Адольфовна, я по вас соскучился... Можно к вам заехать?»

«Милый... вы всегда желанный, что за вопрос. Но сегодня я танцую».

Непростительно забыл, что сегодня балетный день. Сразу поправился:

«Я знаю... Разумеется, я тоже в балете. Я хотел завтра... А можно вас провожать сегодня из театра?»

«Понятно, можно... Вы знаете, я выхожу не из общего подъезда».

«Знаю, знаю... я буду вас ждать».

* * *

Как всегда, выступление Шервин было триумфом. Годы не трогали ее. Повторяла каждый номер. Знаменитое пиччикато — три раза. Почти весь первый ряд — друзья, а они делают погоду. Капельмейстер и режиссер смотрят на них, когда государя нет в театре. Его нет, он в ставке...

Разъезд из балета был зрелищем, единственным в своем роде.

Внутри подъезда ливрейные лакеи в цилиндрах ожидают господ. Бравые жандармы козыряют на всякий случай каждому...

Снаружи стройные линии карет, автомобилей и электрических фонарей. Опять бравые жандармы на лошадях и еще более бравые околодочные в белых перчатках. Дворники и рассыльные, готовые бежать по первому знаку. Толпа любопытных...

Зычные выкрики:

«Тихон с Кирочной...»

«Иван с Каменноостровского...»

«Шофёр Жорж с Английской набережной...»

Кареты и автомобили, руководимые опытной рукой в белой перчатке, забирают своих владельцев.

Гудят моторы, роют снег лошади. Пешеходы шарахаются в сторону. Завистливо смотрят на счастливцев.

«Пшел!..»

Кажется, что это тоже из постановки балета. Да это и есть одна из картин балагана жизни.

«Карета итальянского посольства...»

«Какая богатая и приятная страна эта Россия», — думает, может быть, посол, ожидая карету, и толпа смотрит на его цилиндр и цилиндры его секретарей.

Когда выкрикивают имя его шоффера, Арсений чувствует себя нераздельной частью этой декорации, одним из этих людей фортуны...

* * *

Арсений послал свой автомобиль к дому Шервин. Поехал с нею.

У Шервин было приподнятое настроение. Она кокетничала больше, чем обычно. Вплотную приближала лицо, жалась всем телом. Разговор о политике был бы неуместен.

«При чем тут мнение великих князей?» — вдруг подумал Арсений. — «Смешно даже его спрашивать или с ним считаться».

Тем не менее условился завтра быть у нее, просто для того, чтобы все интимнее делать это знакомство.

* * *

Когда Грабельщиков заговорил с Кащеевым, тот швырнул сигару:

«Что?! Продать жидам душу за триста тысяч... никогда этого не сделаю...»

«Души вашей им не надо. Они просят только, чтобы их не травили».

«Их никто не травит. С ними борятся, как с антигосударственной силой. Вместо святой Руси жидовское царство хотите?.. Никогда этого не будет».

Грабельщиков ушел, ничего не добившись. Но он был уже уверен в успехе.

«Всегда так — посердится, покричит, категорически не согласен, а потом обойдется. Надо ему дать остыть, охладиться».

Кащеев никогда не соглашался прямо с чужими мнениями: ему нужно было поднести это мнение так, чтобы казалось, будто он сам выдумал, и от него самого исходит. Через два-три дня Кащеев сам заговаривал об этом вопросе, и вдруг предлагал то же самое, только в иных словах, как свое.

* * *

Вечером Кащеев был у Мэри.

Та ничего не говорила, ждала, пока он начнет. Кащеев делился с нею иногда своими сокровенными мыслями. Он, вообще, не любил «бабий ум», но с мнением Войтинской в последнее время считался. Она это знала. Он уже раньше говорил ей о денежных затруднениях. Теперь передал разговор с Грабельщиковым. Она все знала от Арсения, но сделала вид, что очень поражена наглостью Грабельщикова. Искренно возмущалась.

«Как же, однако, будет с деньгами?»

Стала развивать мысли о том, что в конце концов, можно согласиться на это предложение, но только так, чтобы оно ничем не связывало.

«Пусть Грабельщиков подпишет это условие с банкирами, яко бы превысивши данные ему полномочия. Когда Кащеев узнает об этом договоре, он лишит Грабельщикова доверенности, — так все будут знать в редакции... Таким образом, договор не будет иметь силы и газеты Кащеева не будут скомпрометированы. Грабельщиков пойдет на эту комбинацию, потому что он на ней хорошо заработает. Он будет ожидать, что потом, когда все уляжется, доверенность он опять получит. Но кое что надо будет сделать, умерить политику...»

«И пусть мерзавцы, дают пятьсот, а не триста...»

До сих пор были слова Арсения. Сегодня днем он сидел у нее часа два и наставлял.

«Мало того, что ты отберешь доверенность у Грабельщикова, можно воспользоваться случаем и вообще удалить его из редакции — пусть кричит и жалуется. Интересно, кто за него вступится, за этого негодяя. Все будут только рады».

Это Войтинская добавила уже от себя.

XV.

ДРУГАЯ ГЛАША.

Глаша лежала полураздетая на кушетке. Арсений сидел рядом. С приоткрытыми улыбкой яркими губами Глаша была очаровательна.

Пряди светлых волос налезли на лицо, и она их сбрасывала жестами капризного ребенка. Другую ее руку Арсений положил себе на лоб и, придерживая ее так, сидел не двигаясь, молча глядя в одну точку, тоже улыбаясь.

Рядом стояли мандарины — ее любимые фрукты и ваза с шампанским.

Прошло больше двух лет со времени их первой встречи.

Глаша бывала иногда у Арсения дома, но чаще встречались в кабинетах или в «Астории» — там у него была постоянная комната. Дома мешала Фроська. Все родственники знали бы через неделю все подробности, хотя Фроська писала каракулями. Скрыть от нее что-либо было немыслимо. Она пролезала во все скважины и щелки...

* * *

Когда Арсений переехал только что в Петербург, вдруг неведомо откуда, без всякого предупреждения, явилась Фроська. Уже с сединой, с морщинами, — в старой шубейке и в большом платке.

«Здравствуйте, Арсений Павлович... Вот вы какой стали! Помните Фроську?.. Дуньку и Фроську?»

Он не видал Дуньку-Фроську с детства. Они тогда куда-то сразу исчезли. Но он хорошо помнил их.

«Дунька давно померла... Кости у ей все болели, а потом на голову перешло, так и померла без сознанья. Я замужем за кирпичным мастером была, да муж помёр... Трое детей у меня было, и тоже все померли...»

Фроська заплакала, всхлипывая и утираясь концом платка.

«Не прогоните, до смерти служить вам буду...»

С тех пор она жила у него экономкой.

«В ней тоже аристарховская кровь... Знает-же она об этом, почему же никогда не намекает?» — думал Арсений не раз, глядя на нее, теперь поправившуюся, раздобревшую. И то, что она никогда об этом не говорила, было ему особенно приятно, связывало с ней...

* * *

Каждую ночь часа в три Фроська вставала молиться Богу. Молилась непременно у бабушкиной иконы, оставшейся у Арсения от матери. «Всех скорбящих», с двуперстным крестом.

Одно смущало Фроську — икона висела в библиотеке, прямо на стене рядом с картинами, и в такой же раме, как картины. Без всякой лампадки или свещи... Фроська, когда молилась, прикрывала картины занавесочками.

Прислуга ненавидела Фроську, хотя она всем помогала в работе. Не раз из за нее отказывались от места:

«Прошу, барин, дать мне расчет... Из за этой язвы жить невозможно...»

Арсений удивлялся не тому, что на нее жалуются, а тому, как еще остальные живут:

«Фрося, зачем вы прячете еду от слуг?.. Зачем вы постоянно ругаетесь?.. Нельзя так с людьми обращаться».

«Прожрут, Арсений Павлович! Прожрут, стервецы, если им волю дать...»

«Что значит — прожрут?»

«Да то значит, Арсений Павлович, что дом по ниточке разнесут, ничего не останется».

И она продолжала свой режим. Но уволить Фроську Арсений не хотел.

* * *

Одна за другой поднимались завесы таинств. Таинств самых священных, самых чистых, самых интимных — таинств сексуальности.

Арсению удалось постепенно внушить и Глаше все то, во что он верил сам. Нет ничего в природе выше и чище сексуального чувства. Нет ничего святее влечения полов... Нет грязного, поганого и грешного там, где совершается величайшая мистерия природы, где заключена тайна жизни...

В Глаше он неожиданно встретил уменье и желанье понять. Он полагал раньше, что выдумал все сам, а теперь был уверен, что и у него, и у Глаши это из одного источника — от столетий раскола. Протест против векового запрета радостей жизни, протест против опоганения того, что должно быть свято... Он нашел в ней горячий ответ. Она была не ребенок больше, она была женщина. Никакого насилия, никакой случайности: Глаша ко всему относилась сознательно, наслаждение делилось поровну.

«...Раскольничий аскетизм веками уродовал природу. Но побеждала природа. Грех и поганость, запрет, только усиливали сексуальность. Она не находила полного разрешения в одном грубом и животном, и поколениями накапливалась неудовлетворен-

ность. Поэтому в Глаше такая концентрированная и утонченная женщина...»

Так думал.

«Первым импульсом к разрушению моей религии было именно пробуждение полового чувства», — вдруг понял он. — «Религия, делающая кастратов святыми, отнимающая радости жизни — религия страшная, вредная... «Могий вместити да вместит»... Какие ужасные слова!..»

* * *

Эти полудевственные оргии доводили чувства до остроты и утонченности необычайной. Идти дальше — казалось только огрубить ощущения.

Вино, неотъемлемый спутник ритуалов любви и религии, возбудитель экстазов, тут было ненужно: бокалы стояли недопитыми, бутылка в серебряной вазе со льдом была почти полна.

Как присутствие святых даров и церковных облачений на черных мессах заостряет половое чувство верующих, дрожью кощунства усиливает страсть, так тут девственность повышала остроту прикосновений. Кощунство над грубой природой доводило чувства до верхушек экстаза.

«Первые переживания самые яркие — это тогда, давно сказал Павлик... в «Эрмитаже»... В сексуальности еще важнее, чем где-либо... Женщина, у которой было уже «вчера», не может заразить этим экстазом первых переживаний. Как бы она ни была утонченна... Что было, то было... И как важно, чтобы тот первый мужчина, с которым ее столкнет судьба, не был пошляком или просто животным. След уже на всю жизнь...»

Арсений вспомнил Гришку. Какое у него было отношение ко всем женщинам, прошедшим через его руки — почти отвращение!.. «Чтобы совсем знать человека — мужчина то или женщина — надо знать его партнера в жизни!»

Полулежа в кресле, утомленный, счастливый, улыбающийся, Арсений говорил:

«Моя родная Глаша, я теперь понимаю... Точно откровение!.. Иудейско-христианские аскеты, так называемые отцы церкви, мучились в пытках неудовлетворенной страсти, фантазия рисовала им самые острые и страстные сексуальные картины. Отсюда рождение Христа от девы... Это остро, как лезвие бритвы, и свято, и страшно кощунственно...»

Глаша поняла, хотя он не ожидал, что она поймет:

«Что ты говоришь, Арсений!.. Это грешно. Непрощаемо так говорить...»

«Непрощаемо?!.. Мне все равно... И тебе все равно, пусть непрощаемо. Моя родная, откуда ты взяла слово «непрощаемо»?.. Я люблю тебя, моя Глаша...»

Он опять целовал ее в губы, ощущая теплую эмаль ее зубов. Она уже вся пропиталась его страстью, его пониманием страсти, и к ней прибавила свою девственную, полураспустившуюся, но уже бьющую ключем... Уже не его страсть заражала ее — это была их страсть, сложенная вместе, усилившая одна другую, слившаяся в одно нераздельное, прекрасное, таинственное, святое целое.

«Если есть вообще святое, то оно тут, у нас, Глаша», — говорил он. — «Я люблю тебя, моя родная.»

«Не говори так, грешно», — и она еще сильнее к нему прижималась.

Напряженность обнаженных нервов доходила до боли. И эта боль была наслаждением. Психические переживания, острые, как жало, давали бурную физическую реакцию. Грань между психическим и физическим стиралась...

* * *

Но последняя завеса оставалась задернутой.

«Должна-ли и она быть приподнята?»

Арсений отвечал себе:

«Нет.»

Сколько раз он останавливал себя.

«Это случится только тогда, когда ты сама этого захочешь... Сама скажешь».

За два года его чувство к Глаше не потухло, еще не начало потухать. Казалось, оно стало сильнее. Из каприза сделалось чувством.

Он перебирал в уме ряд других женщин — ни разу не было так. Всегда влечение начинало погасать слишком быстро...

«Глаша... ты жалеешь когда-нибудь, что так случилось? Ты хотела бы, чтобы всего этого не было?..»

«Нет, не хотела бы», — ответила она просто и поцеловала его руку.

Не в первый раз уже был такой разговор.

«Ты понимаешь, Глаша, что это неизбежно отразится на всей твоей жизни?..»

«Ты опять...» — прервала она. — «Не копайся ради Бога в душе. Я давно не ребенок и понимаю, что делаю... Мы делим наслаждение поровну. Ты сам сколько раз так говорил...»

«Вероятно, за эти слова она так и дорога мне», — подумал он. — «Никогда ни одна женщина не говорила так, все подчеркивали какую-то жертву, и это окачивало холодной водой».

* * *

Стоя на коленях, он целовал ее ноги.

«Ты меня действительно любишь?.. Милый!»

Он не ответил, обнял ее ноги и стал еще нежнее целовать их.

«Любишь?.. Сейчас — любишь, я в это уже поверила... Ты очень хотел бы, чтобы я совсем была твоей любовницей?.. Нет, подожди. Ты хотел бы, я знаю, но ты боишься последствий, того, что это тебя свяжет. Я знаю, подожди!.. Жениться на мне ты не хочешь, я не подхожу тебе... Подожди-же!.. Ты не бойся... Я давно уже решила, я уеду заграницу, в Швейцарию. Я давно решила, я все равно не вернулась бы домой по

окончании курсов. На курсах я тоже не хочу оставаться — я уеду... Дослушай до конца. Я давно собиралась сказать тебе. Ты видишься со мной часто, но ты не знаешь, как я живу без тебя. За эти два года я родилась второй раз... Милые, хорошие два года... Ты в них — главное действующее лицо. Но были и другие....»

«Ты мне изменяешь, Глаша?!» — почти вскрикнул Арсений, и тот постоянный комок подкатился к горлу. — «Ты любишь кого-нибудь другого?!.. Еще с кем-то встречаешься тайком от меня?..»

«Нет! Нет... Но есть люди, которые влияли на меня. Может быть, меньше, чем ты. Я теперь часто говорю твоими фразами. Думаю иногда, как ты думаешь. Я знаю это!..»

«Кто-же это, Глаша?»

«Это женщина, не ревнуй... Я никого другого не люблю, Арсений... Но слушай самое главное. Я все не решалась тебе сказать... Вот в чем дело: ты должен дать мне много денег, чтобы я могла прожить несколько лет в Швейцарии. Я буду жить очень скромно, я буду там учиться».

«Сколько это, много, Глаша?» — вдруг насторожился он, глядя на нее удивленно, не понимая, что произошло. Увидел вдруг Глншу в новом свете, по аристарховски вдруг сжался, как всегда, когда выступали на первый план деньги.

«Сколько, Глаша?»

«Для тебя не так много, Арсений... Тысяч десять»..

«Всего десять тысяч!.. Моя милая, неужели ты сомневалась, что я дам тебе их, если они действительно нужны тебе. Мы с тобой истратили много больше на разные пустяки... Но ты никуда не уедешь, я не пущу тебя. Я не хочу оставаться без тебя».

«Нет, я должна уехать... Я уеду. Ты знаешь, куда я уезжала на Рождество?.. Я уезжала не домой — я была у Анфисы Воскобойниковой, у них в имении. Помнишь, ты меня тогда познакомил на вокзале? Пока ты разговаривал с носильщиком, Анфиса спросила

меня, что я здесь делаю... Я получила от нее письмо, адресованное на курсы. Она звала меня к себе в «Европейскую», но просила не говорить тебе... Она —удивительный человек... Я начала у ней часто бывать... Познакомившись со мной, она стала мне доверять, а может быть у нее были другие соображения!.. Она почему-то боится тебя. Ей кажется, что ты догадываешься, и она хотела, может быть, нарочно, впутать меня. Она даже намекнула мне, что ничего не имеет против, если я все расскажу тебе. Помнишь ее зверинец в имении? Под этим зверинцем большой подвал и выход в обрыве, на Оку. Ты знаешь, что в этом подвале?.. Там типография... Анфиса давно работает с революционерами. Она нарочно выдумала, что любит зверей, и купила двух медведей, а потом еще разных других. Она мне все показала... Зверинец никому не внушал подозрений — все знают, что Анфиса странная, еще с детства. Когда в подвале работают, Анфиса не ложится, а ходит около, чтобы кто-нибудь случайно не услышал шума... Я жила у них несколько дней. Она водила меня туда, познакомила с другими... Знаешь, кто там когда-то работал? — твой товарищ Оконин... Она мне это тоже сказала...»

* * *

Арсения поразил не рассказ о типографии и Оконине, об его связи с Анфисой — он об этом догадывался. Удивительно было, почему Анфисе понадобилась Глаша и как это в Глаше явился интерес к этой работе? Впрочем, замысел Анфисы ясен — она нарочно привязала к этому делу Глашу, чтобы заставить его молчать, иначе он погубил бы и Глашу.

«Милая... Оконин называл эту работу «охотой на тигров». Но я не отговариваю тебя. Только зачем же уезжать? Почему ты не можешь остаться в России — здесь, в Петербурге?»

«Я должна уехать, Арсений. Судя по словам Анфисы, у полиции есть уже какие-то нити, и могут аре-

стовать ее и меня. Но, главное не в этом Арсений... Я не могу мириться с тем положением, в котором живу, и я знаю, что я не должна требовать чего-либо другого. Это было-бы еще хуже... Я не должна этого требовать ради тебя, а я люблю тебя...»

XVI.

ДЕЛОВОЙ ДЕНЬ.

Здесь бывали директора департаментов и банков, журналисты, крупные спекулянты, приезжавшие в Петербург губернаторы. Заезжали министры. Бывало, что министры назначались из завтракавших здесь.

Гильц, его высокопревосходительство, где-то служил. Но все его так уж и помнили высокопревосходительством. Были знамениты его завтраки. Большие — два раза в неделю, маленькие каждый день, кроме воскресений. Несколько человек бывало постоянно, изо дня в день. Они составляли окружение его высокопревосходительства.

Небольшой пенсии для этих завтраков было недостаточно. Генералу давали вспомоществование из особого фонда, по высочайшему повелению. Иногда получались деньги от банков. Суммы проводились по банковским книгам «на экстренные расходы»...

* * *

Обе гостиные были полны иконами, складнями, душеспасительными брошюрами, листками. Эти листки раздавались безплатно на папертях церквей.

По стенам стояли хоругви, знамена, стяги с патриотическими девизами. На столах лежали патриотические газеты с отчеркнутыми статьями. Ни одной не было левее «Русской Газеты». Сегодня лежала целая стопка «Дружеского Слова».

На первой странице был нарисован царь в походной обстановке. Он сидел на деревянном стуле за простым деревянным столом с керосиновой лампой. Сидит и что-то пишет... В углу солдатская складная кровать. Пол некрашеный, без коврика. Центральный рисунок окружен десятью другими. На них изображены подданные царя, мирно спящие — одни в богатых деревенских избах, другие в роскошных городских домах. А наверху крупная надпись:

«Все спят, вся Россия спит, один труженик — царь неусыпно работает».

Редактор этого журнала был один из постоянных гостей.

* * *

Грабельщиков тоже бывал здесь. Иногда он приходил пораньше и беседовал с хозяином наедине.

Так было и сегодня. Должно было произойти свидание с министром внутренних дел.

Теперь, во время войны, в виду разрухи и нароставшего недовольства, нужно было влиять на общественное мнение через печать. А печать не хотела во всем поддерживать правительство, и нередко появлялись статьи нежелательные. Репрессии против печати еще больше раздражали общественное мнение. Надо было итти на какой-нибудь компромисс...

«Надо скупить всю влиятельную печать. Не подкупить, а скупить... Купить все типографии с ротационными машинами и, ничего не меняя в составе редакций, оказать давление. Если статьи будут неугодны правительству, ротационные машины перестанут двигаться, и номер не выйдет? Ротационных машин в Петербурге всего десятка два и скупить их очень не-

трудно, а новые теперь, во время войны, привезти невозможно... Разумеется нельзя скупать прямо и открыто. Нужна особая организация, подставные лица. Покупателем выступит один из крупных петербургских банков. Банк будет скупать не газеты, а типографии — дома и машины. Это будет действительнее, чем самая строгая цензура, и никаких репрессий...»

Министру идея очень нравилась.

Министр приехал.

* * *

Говорили запершись в кабинете.

«Это, остроумно» — улыбается министр.

У Грабельщикова готов список всех типографий, имеющих ротационные машины.

«Нужно будет покупать осторожно, не сразу. Без широкой огласки» — полагает министр.

«Лучше, ваше высокопревосходительство, именно сразу... Как большая полицейская облава. В течение одного-двух дней заключить предварительные условия со всеми, чтобы владельцы одной не знали про переговоры с другими. Иначе придется платить последним очень дорого, а некоторые совсем откажутся продать, пронюхавши. С каждым из владельцев нужно вести интимные переговоры, секретно, но по возможности со всеми одновременно... Когда будет куплено, тогда просто: не печатай того-то, не печатай того-то, а не желаешь слушаться, иди к чортовой матери! — извините ваше высокопревосходительство, но с журналистами нужно именно так разговаривать... Впрочем, и не только с журналистами».

Министра сначала несколько шокирует развязность Грабельщикова, но дальше она начинает ему нравиться.

«Чего не писать — это просто. Более трудный вопрос — что писать, и кто будет писать? Вы знаете, что во Франции, например, добрая половина статей в газетах оплачена частными лицами. В данном случае роль этих частных лиц берет на себя правительство.

Но оно не может же само писать статьи!.. По моему, необходимо выделить несколько более талантливых — и подкладливых, в скобках — журналистов и дать им хорошие ренты...»

* * *

Разговор благополучно подходит к концу. Министр готов уже встать, когда вспоминает:

«Мы тут говорим довольно откровенно... Позвольте воспользоваться случаем и задать вам несколько интимный вопрос: кем оплачивались в свое время статьи в «Русской Газете» по вопросам артиллерийского вооружения? Я, разумеется, говорю с вами не как министр. Это и не по моему министерству... Должен вам сказать, что из вполне достоверных источников у меня имеются сведения, что статьи оплачивались одним иностранным промышленником, владельцем пушечных заводов. Имени, я полагаю, не нужно называть?.. Но для меня загадка в том, что статьи ругали одинаково — как пушки конкурентного завода, так и своего...»

«Вас интересует техника, ваше высокопревосходительство» — смеется Грабельщиков. — «Техника журнализма проста — отец дьякон, деньги на кон. Журналисты берут деньги вперед, в противоположность чиновникам, которые иногда получают деньги потом... Извините за откровенность... Я вам расскажу, в чем дело, но позвольте, в свою очередь, заметить вам, что этот ваш высокоосведомленный источник довольно неосведомлен... От него вы, вероятно, знаете, что деньги за эти статьи получал никто иной, как я. Вас интересует, почему именно платили мне, когда я ровно ничего не пишу по вопросу артиллерийских вооружений. Так ведь, ваше высокопревосходительство?»

Министр наклоняет голову в знак согласия.

«Совершенно верно, деньги за статьи получал я. Хотя гораздо меньше, чем представители заводов записывали в счет на подкуп русской печати. Устроилось это просто. Одному из наших сотрудников представитель пушечного завода предложил пятьсот рублей в

месяц за статьи против конкурента. Я был глубоко возмущен: эти господа наживают на заказах миллионы комиссионных, ни уха, ни рыла в деле не смыслят, а специалисту-адмиралу, старому сотруднику самой большой газеты, предлагают подачку в пятьсот рублей! Я позавтракал с конкурентом, и он дал адмиралу тысячу рублей в месяц... Затем я свел конкурентов и растолковал им, что пушечному заводу нужно только одно — война. Для того, чтобы были большие заказы на пушки и снаряды — нужна война!.. Не все-ли равно, пушки какой фирмы хвалят или ругают. Если война, то будут завалены заказами все пушечные заводы... Вам нужна война и ничего больше, — сказал я. Они это и сами понимали, только не решались выговорить... И впредь стали платить мне... Мне и еще кой-кому. Я организовал... Незаметно, постепенно, по всякому удобному случаю раздувалась война. Война случилась не только от того, что газеты печатали шовинистические статьи, но всякая шовинистическая статья полезна для пушечного завода... Так как шовинизм совпадал с направлением «Русской Газеты», то мне ничего и не пришлось делать. Почему нескольким бедным журналистам было не взять сотню тысяч с этих милостивых государей?.. Были и министры, заинтересованные в войне по тем или иным соображениям, но не будем ставить точки над «и»... Одним словом, соединенными усилиями войны мы добились, и милостивые государи зарабатывают миллионы. Нас, журналистов, они обсчитали. Они обсчитали даже одного из министров, который так искренно и горячо помогал — не выполнили полностью своих обещаний».

«Вы мне открываете новые горизонты, должен вам сознаться», — покачивает головой министр. Он действительно поражен.

«Я вам ничего этого, ваше высокопревосходительство, не говорил...»

Министр наклоняет голову в знак согласия.

* * *

Грабельщиков предложил Арсению, когда вышли от Гильца:

«Пройдемтесь пешком... Во-первых, у меня артериосклероз от сидячей жизни, а во-вторых, о секретных вещах нужно говорить на открытом месте. Есть комбинация, на которой легко можно заработать сто-двести тысяч».

«С шантажиком или без оного?».

«Кристальной чистоты, хоть форелей разводите. Идейное дело... Однако, что это вы так шантажа боитесь?.. Шантаж, это как биржевая операция, как получение прибыли с чужого труда. Это один из способов борьбы за существование. В особенности, если касается шантажа всяких банкиров и прочих спекулянтов. С ними то еще церемониться!.. Самый большой шантаж журналиста — маленькая спринцовка для грудных детей в сравнении с их насосами Вортингтона для накачивания денег в свои карманы. Но к делу... Вы в каких отношениях с Крейсманом и его компаньонами?»

«Кажется, в хороших...»

«Вот хорошо... А с Бубновым?»

«Тоже».

«Превосходно!.. Так вот, слушайте» — и Грабельщиков рассказал план скупки типографий министерством внутренних дел, через подставных лиц.

«В деле будут участвовать еще трое или четверо, и надо всем начать сразу и по возможности в один день, не больше как в два, взять опционные расписки.. Желательно купить дешевле, но в крайнем случае средства найдутся, лишь бы купить. Там, где не захотят продать полностью, нужно купить большинство. Пусть остаются совладельцами — все равно им пропишут кузькину мать...»

Грабельщиков долго развивал детали плана.

«Я в это дело не пойду», — вдруг заявил Арсений. — «Пусть другие скупают газеты для департамента полиции».

Грабельщиков удивленно посмотрел, даже остановился:

«Вот ваш провинциализм и сказался!.. У вас нет трезвого взгляда на вещи. Газеты все равно будут скуплены — примете ли вы участие или не примете, — разница только в том, что так вы получили бы комиссию, а иначе получат другие».

«Пусть получают... Я люблю деньги не меньше вас, но есть предел, за который нельзя заходить... И вам не советую».

«Буду делать без вас... потом жалеть будете. До свиданья».

* * *

Арсений позвонил Глаше. К удивлению ее не было дома.

Он не мог сейчас оставаться один. Вспомнил, что сегодня маленький приемный день у старой графини Зоммер. Там будет Марианна Ромуальдовна.

«Поехать туда?..»

По мере того, как вырисовывалась миллионы, отворялись все двери.

Раньше нужно было комбинировать, низкопоклонничать, хитрить, чтобы попасть в настоящую светскую гостиную — теперь приглашали со всех сторон, одна за другой двери отворялись как-то сами собой...

Он подумал:

«В сказке волшебные слова!» «сезам отворись!», а в жизни — «у меня миллионы!»...

Раньше приходилось выдумывать предлог, предупреждать, спрашивать разрешения, все время присматриваться, не косятся ли — а теперь даже мысли такой не приходило, приезжал как равный к равным. Уверенность в своем праве передавалась другим, и ни у кого не возникало сомнений.

Раньше — обдуманные манеры, подготовленные фразы, соблюдение этикета (часто глупого, нелепого, но кем-то когда-то установленного и ставшего обязательным), осведомление о вкусах хозяев, постоянная

мысль быть им приятным — и всетаки не был своим, получались угловатости, тянуло холодком от фраз окружающих...

Теперь — иногда держал себя с нарочной небрежностью, гладил против шерсти то одного, то другого, ничуть не смущался плохим знанием языков — и всюду звали.

Миллион...

Свой богатый особняк.

Газета.

Шикарные женщины.

Кресло первого ряда в первом абонементе...

* * *

Но всетаки совсем своим он не был. Арсений понимал это.

«Они» звали его, потому что он был богат и мог быть нужен. Может быть, даже интересовались им самим, его складом мышления, иногда парадоксальностью его фраз. Он импонировал им своей уверенностью, энергией, доказанным уменьем делать карьеру.

Но он был не от них. Не совсем с ними. Не совсем свой.

Он сомневался в том, в чем они никогда не сомневались. Он интересовался вопросами, чуждыми для них. Он пришел к ним с низов, а за ними поколения правящих. Они были новы для него и он замечал в них то, чего они, приглядевшись, друг в друге не видели.

Они тоже наблюдали его, чувствовали у него иной ход мысли и говорили о нем:

«Оригинальный тип... Русский американец».

* * *

Графиня Зоммер, уже старая, вдова, наследовавшая после сановного мужа миллионное состояние. Славились ее балы — им не было равных в Петербур-

ге. Ей хотелось, чтобы считали так: не попасть на очередной бал к графине Зоммер значит быть вычеркнутым из верхов... Это ей не совсем удавалось, но тем не менее балы были блестящи.

Еще она была известна своей грелкой. Никогда не расставалась с горячей резиновой подушкой: у нее хронически, уже лет тридцать, болели почки... Это не мешало ей пить шампанское почти каждый день.

О графине Зоммер много говорили. Ей хотелось быть центром внимания. Больше всего она боялась, что могут перестать о ней говорить. К сожалению, говорили не совсем то, чего она добивалась. Все знали о ее связи с молодым адвокатом-евреем, и все говорили об этом. Все знали, что муж ее считался взяточником — понятно только крупно — и все говорили об этом... Все знали, что она стремится создать политический салон, но в нем наряду с одним послом великой державы бывали только экзотические дипломаты — Эквадора, Чили и даже — острили — Либерии. Бывал тут и маркиз Кастелло Ричи...

* * *

Марианна была замужем за гвардейским генералом без титула. Это ее несколько шокировало — она гордилась своим титулованным происхождением. Муж был на войне.

Высокая блондинка, с белой бархатистой кожей, с русалочьими глазами. Руки и ноги немного велики, но породистых линий. Она могла бы играть Кримгильду из «Кольца Нибелунгов» без грима. Марианна причисляла себя к самой верхушке общества, но мало где бывала. Она вела дневник на четырех языках, и в нем иронично писала об «обществе». Себя она считала выше светских сплетен, но сплетничала иногда ядовито, колко и метко...

Наиболее частым ее посетителем был полуюродивый князь из царствующего дома. Он не пропускал ни одной церковной службы и читал всегда с амвона

Апостолов. Вел с Марианной нескончаемые религиозные разговоры.

«Феодорчик, довольно... Поговорим о другом», — надоедало ей.

Но Феодорчик настаивал, вынимал из кармана иконку, крестился, целовал и упрашивал:

«Милая Марианочка, поклянитесь мне на иконе, что завтра пойдете в церковь...»

Так каждый раз.

Марианна нравилась Арсению своей колкостью, порой остроумной. Своей женственностью, не смотря на крупные размеры. Тем, что она его выделяет... Он часто бывал у нее. Создались полуинтимные отношения, как раз на границе дозволенного. Дальше он не стремился.

Поехал к графине Зоммер.

* * *

Марианна была там. У маленького столика она пила чай с известным адвокатом. Он считался очень известным, хотя никто не знал, чем он известен. Давно он уже нигде не выступал и ежедневно писал свою большую книгу «О женщинах». Книга должна быть напечатана только после его смерти. Он также писал стихи. Каждое стхотворение посвящалось женщине — Н. О. Р., П. К. С., М. И. К...

Адвокат обожал всех женщин. Поклонялся им. Только смотрел на них и целовал ручки. О Марианне он говорил:

«Божество».

Был еще старый барон Тизенбах. До мозга костей придворный. Он искренно верил в святость придворных заветов и в священную роль аристократии. Старался блюсти чистоту тех и других. Ни разу за всю жизнь не усумнился в искренности своих взглядов. Он страдал теперь от лжи и гнилости той среды, на которой все строил. Распутинщина, продажность, интриги повергали его в отчаяние. Он чувствовал, что

все кругом шатается, рушится Колебалась самая почва, на которой раньше так прочно все стояло...

Но виноваты были люди, а не строй, не принципы. Принципы также святы и непреложны, только ими не так пользуются. Царское он противопоставлял двору Марии Феодоровны.

«Если бы было так, как при старом дворе, Россия была бы счастлива».

Барон любил цветы и свое именье обратил в сплошной цветник. Ничего в нем не сеялось — были только цветы и таблички о посещениях высочайших особ.

> *«Тут цесаревна такая-то изволила рвать ромашки такого-то числа, месяца и года».*
>
> *«Эта березка посажена в присутствии великого князя такого-то».*
>
> *«На этой скамейке изволила кушать сливы из наших оранжерей вдовствующая императрица»...*

Барон давно нигде не служил. У него было уже высокое придворное звание. Чтобы оставить за ним почетный пост, создали новый специально для него — «почетного блюстителя дворцовых оранжерей».

Высокий, еще стройный старик, с шелковистой белой бородой, с римским профилем и холеными тонкими руками, всегда с цветком в петлице — он сам был оранжерейным растением...

* * *

С улицы донесся какой-то топот. Барон вскочил и почти подбежал к окну. Ничего не было видно.

«Что вы смотрите, барон?» — обеспокоилась хозяйка.

«Ужасно, милая графиня... Я подумал, что продолжается мое видение. Я расскажу. Я не хотел рассказывать, но теперь расскажу... Позапрошлой ночью... Вчера я был так разбит, что пролежал весь день, после

этого ужасного видения... Я не спал еще. Часа в три. Наверно знаю, что не спал... Вдруг слышу топот на улице, топот и крики. Скачут всадники и бегут люди. Крики страшные, угрожающие... Я сразу догадался, что бунт, начинается революция... Побежал к окну, и действительно вижу — бежит толпа с ружьями, с кольями... Красные флаги, и впереди скачет кавалерия, но она не против толпы, а с толпою... Что-то кричат, показывают на мой дом и на мое окно, где я стою... Вдруг стали стрелять... Дальше не знаю — я упал тут же... Утром Фриц меня нашел в спальне на полу. Вызывал доктора... Страшное что-то близится, мои друзья. Очень страшное, невиданное...»

Барон глубже вдвинулся в кресло и закрыл лицо руками.

Несколько секунд все молчали.

* * *

Первая заговорила старая графиня.

«Что же делать?.. Что делать?»

Все понимали, что этот сон, видение, галюцинация, очень близок к возможной действительности. Если не понимали, то чувствовали. И тут же сознавали, что ничем не могут остановить, помочь.

«Арсений Павлович, вы умеете обращаться с деньгами. Куда поместить сейчас деньги?» — спросила графиня.

Ответил барон.

«Никто ничего не знает. На все воля божия... Я ничего не предприму. Война будет выиграна... Я полагаюсь только на Бога, милая графиня. Я так сказал третьего дня и Марии Феодоровне...»

* * *

Арсений пошел провожать Марианну. Она жила недалеко. Автомобиль тихонько ехал сзади. Уже совсем стемнело. Держа ее под руку, он прикасался к ее груди, и она чувствовала это и позволяла.

«Вы не такая, как все... Вы образованней и культурней, вы сами это знаете...»

Она не возражала.

«Вы талантливо пишете. Если бы в вас еще была сексуальность, вы стали бы большим талантом. Для развития таланта необходима повышенная секреция».

«Опять за старое?!..»

«Да, да... Вы многое упускаете в жизни. Мало того, что вы гасите ваш талант, вы лишаетесь лучшего, что дано людям».

«Проявления сексуальности грязны».

«В экстазе не может быть грязи».

«У меня нет сексуальных экстазов... Мне смешон мой муж, когда он разжигает свою животность... Так грубо, так смешно. Противно!.. Чтобы не замечать, я обдумываю в это время новые фасоны шляп».

Оба смеялись.

«Когда вы по настоящему полюбите, вам будет не до фасонов. Придут экстазы...»

«Принципиально я не возражаю, но подходящих объектов не встречала. Думаю, что и не встречу... Во мне течет холодная кровь крестоносцев».

«Кровь крестоносцев будет кипеть».

* * *

Когда попрощался, сел в автомобиль, долго думал о последней фразе.

«Кровь крестоносцев!.. А во мне мужицкая. Кажется, несколько поколений моих предков были рыбаками. Точно неизвестно — генеалогических деревьев для нас не рисовали... К чорту ваших предков и всю вашу голубую кровь! Плевать мне на нее!.. Скажите, пожалуйста — крестоносцы! Кто были крестоносцы?!.. Банды грабителей, папское мясо... Наследственные титулы!.. Какое идиотство, какой абсурд... Подождите, все это скоро полетит тормашками...»

Сам себя настроил. Раздвинулась шире пропасть между «ими» и им. Иногда ему хотелось как можно

теснее сойтись с ними, слиться. В другие моменты — нарочно отделялся, становился в сторону и наблюдал. Сейчас было такое чувство — обостренное, подчеркнутое. Была острая злоба к ним... Злоба за то, что ему далось — и еще далеко не все — с таким трудом, а у них было готовое...

«За что?!»

XVII.

«ШАМПАНЬ-ТАНГО».

Самым дорогим и модным местом было теперь «Шампань-Танго».

Пили шампанское и смотрели на танго.

Во время войны спиртные напитки были запрещены для народа, чтобы он шел умирать на войну трезвым. Но здесь пили свободно. Только шампанское подавалось не в бутылках, а в кувшинах, чтобы похоже было на квас. Сам градоначальник не решался пить в общей зале — ему подавали в отдельный кабинет. Но тоже в кувшине...

Танго танцовали тут же среди столиков. Только одна пара. Это были сами творцы танго.

Было что-то змеино-влекущее, утонченно-порочное в движениях стройной, гибкой блондинки с золотыми волосами — старое золото. Она змеино изгибалась в руках партнера, тоже ловкого и умелого. Движения были откровенны и греховны, порочны и красивы.

Кавалер вел танец, и она, казалось, подчинялась ему. Но ясно было, что она — главное, что она все, что он только декорация, фон. Есть такие женщины: они подчиняются, слабые, безвольные, а за ними послушно идут самые сильные...

* * *

Этот танец был символом волшебной силы женщины. К ней, к этой танцовщице, влекло многих, и уже большие суммы были в предложении. Но она пока не продавалась. Набивала цену...

Порочная, выдуманная музыка. В ней и южный пыл, и страсть, а моментами северная тоска и страдание.

Танцовщица была сильно надушена ее особенными духами. Дамы-зрительницы, в роскошных мехах, тоже благоухали, каждая по своему. Казалось, что вся зала пропитана острым, волнующим запахом, и духи смешивались со звуками танго, дымом дорогих сигар, с шампанским, с кофе, с живыми цветами, с женским телом...

Точно нечаянно женщины приподнимали платья, чтобы показать ноги, затянутые в тонкий, блестящий шелк.

Годами тренировки вырабатывалось уменье так приподнимать платье. Это спорт, целая наука. И тренированная сразу узнавала нетренированную, и привычный глаз мужчины тоже сразу замечал разницу.

* * *

Арсений сидел за столиком с Войтинской. Пили шампанское и ели трюфели.

«Еще древние знали, что трюфели увеличивают способность, проявление которой дает высшее наслаждение...»

«Это ты хорошо сказал, но закажи анчоусов».

«Ты гениальна, Манечка», — согласился Арсений.

Есть не хотелось, но надо было что-нибудь есть.

Наглый, но вежливый метр д'отель улыбнулся заказу и подтвердил, что это превосходно к шампанскому и трюфелям.

«Можно сразу узнать», — сказал улыбаясь Арсений, — «если человек съедает все, что на тарелке и толсто мажет маслом хлеб — его дела плохи... Богатые и мудрые на еду не накидываются. Первые потому,

что заелись, а у вторых желудок уже устал. Пока дойдешь до мудрости клетки старятся...»

«А ты уже мудрый?»

«Судя по клеткам — еще нет».

«По моему ты перемудришь мудрого!»

«Плохо, если это так. Перемудрить хуже чем недомудрить. Мудрость проста...»

В зале было полно, полно каждый день. Надо было заказывать столик заранее. И не для каждого оставляли.

* * *

На всех столиках было шампанское. На всех столиках были цветы. Блестели нагло и властно брилланты. Слезы моря-жемчуга загадочно переливались, точно хранили в себе тайну богатства. Все их носили, и все говорили, что очень их любят. Гораздо больше, чем брилианты. А в душе любили наглые бриллианты...

«Знаешь, Манечка, мне становится жутко смотреть на жемчуга и бриллианты... Они возбуждают злобу, там, на улице... Во всем этом громадном городе. Их видят на женщинах богачей в окнах ювелиров... Бриллианты притягивают взгляды, разжигают озлобление... Это — концентрированное богатство, наглое, бьющее в глаза. Если бы я был у власти, я запретил бы показывать бриллианты на улице. А если бы я был в толпе, я пошел бы их грабить... Мне как-то жутко в последнее время... Впрочем, не стоит об этом... Пей!»

Арсений чокнулся и приподнял бокал на высоту лица Смотрел как играет вино.

«Пей, Манечка... Всё... Вредно!?.. Мне тоже вредно. Всё вредно. Вообще жить вредно — организм изнашивается. Я одно время совсем не пил, а теперь опять пью... Думать, что будет завтра, когда не знаешь, будет ли это завтра... Жизнь кончается завтра».

Войтинская слушала внимательно, смотря прямо в глаза.

«Действительно ей интересно слушать, или она только усвоила такую манеру?» — думал Арсений. — «Именно этим уменьем слушать она привязала к себе Кащеева... Кащеев — старый развратник, у него было много женщин, но ни одна из них не интересовалась теми сферами мышления, в которых он жил... Он с ней говорит обо всем, советуется, спорит, и она умеет соглашаться или возражать. Может быть и сейчас игра, осталась та же прежняя Манечка, мечтавшая о нарядах, рысаках, бриллиантах... Но не все-ли равно, искренно это или нет? Кажется или есть — не все-ли равно...»

* * *

Грабельщиков знал, что Аристархов будет тут, и тоже приехал. В последнее время он старался теснее сойтись, чувствовал, что у Аристархова растут деньги и связи.

«Из молодых, да ранний», — говорил он, — «так и прет вперед, не знаешь, где остановится: на миллионах или в каторге...»

Впрочем, о каторге Грабельщиков прибавлял только по привычке: тут ясно пахло только миллионами — он это понимал.

Грабельщиков подсел к их столику. Был очень почтителен с Войтинской.

Вдали, в компании с дамами, сидел Мамон.

«Вон Мамон!.. Большой жулик, но умная каналья. Люблю умных... Лучше с умным пешком, чем с дураком на извозчике... Любит женщин больше, чем биржу! Удивительно: ведь легче думать о любви, сидя с самоедом в палатке и закусывая сальной свечкой, чем в самой любовной обстановке, но играя на бирже... А у этого совмещается!.. А!.. Додка, здравствуй, — и ты тут?»

Тот сделал кислое лицо, точно ел лимон.

«Охота вам пить эту жидкость», — указал он на шампанское, — «пьешь, пьешь, и нуль результата, лягушек в животе разводить. Вот коньяку-бы...»

Додо присел.

Всем нравились его легкие, изящные рассказики и рецензии, тоном капризного ребенка. Но весь свой блеск он проявлял в живом разговоре. Нужен был только умелый собеседник, чтобы зажечь его. Нужен был только легкий удар, чтобы выбить одну искорку, и тогда долго лилась яркая струйка. В его мозгу всегда был легко воспламеняющийся материал — не приготовленный, не заученный, не повторение чужого, а своя легкая импровизация, живой экспромт.

Но в последнее время он начал тускнеть...

* * *

Когда танцующая пара оказалась вплотную у их столика, он поклонился одними глазами танцовщице. Та бросила ему красную розу. Она за стебелек держала ее в зубах. Додо раскрошил лепестки в шампанское.

«Вы знакомы?» — спросила Войтинская.

«Знаком-ли я с пороком сладострастья?.. Увы, знаком... Нет сладу с страстью...»

«У тебя бывают экспромты удачнее», — заметил Грабельщиков. — «Особенно, когда ты их заготовляешь своевременно».

«Дайте коньяку. будет удачнее».

Додо обиделся. Он был обостренно самолюбив и избалован успехом. Особенно женщинами.

«Голова болит, два порошка триметиламину принял — не помогает...»

«Тоже плохо», — покачал головой Грабельщиков.

Скрипки опять пели танго.

Становилось еще теплее и ароматичнее. Головы кружились. Глаза у женщин горели, точно все впрыснули атропин или нанюхались кокаину.

Здесь было радостно. Там, где-то была война и были забастовки и голод, но сюда это не доходило.

* * *

«Что же вы замолчали?» — сказала Войтинская, глядя на Додо.

Додо ничего не ответил; продолжал доставать языком из бокала красный лепесток.

«Вы немой, Додо», — ударила она его легонько веером.

«К сожалению, я не был вашим... Но весьма хотел бы быть».

«Держите себя прилично, Додо... Я люблю остроумных, поэтому вам многое прощается».

«Многого еще не было», — сказал Додо. — «Вы кокаинистка?»

«Нет... была когда-то».

Глаза у нее тоже горели искорками.

«Я тебя тоже люблю, Додо, за твой юмор», — сказал Арсений, чокаясь с ним. — «Если юмора нет, разговор сух, скучен, неинтересен... некультурен, бездейственен... Даже парламентские речи только тогда имеют успех, когда аудиторию заставляют смеяться... Я читаю в парламентских отчетах только места со смехом... Если есть боги, то они несомненно всегда смеются. Отчего ты меньше смеешься в последнее время?»

Додо ничего не ответил.

Приезжали еще. Дамы в бриллиантах и дорогих манто. В этой зале места уже не было. Их проводили в соседнюю залу.

За окнами слышался мягкий храп тяжелых автомобилей, ругань лихачей.

«Что это за номер?! Две левых ноги...» — бормотал Додо, глядя на вошедшую даму. — «Дадут Додочке молочка наконец, или мне уходить?»

Наконец коньяк подали.

* * *

Рядом с Додо Грабельщиков стушевывался. Он был резче, едче, саркастичнее, но у Додо было больше юмору...

Слушатели всегда были на его стороне, с ним веселее.

«Вот так бюст!» — сказал Додо вслед прошедшей даме.

«Корова с радостью дает теленку вымя,
А молодая мать, чтоб бюстом щегольнуть,
Корсетом стягивает грудь...
О женщины, ничтожество вам имя!»

«Не совсем подходит к обстановке, но недурно, Додо... запишите» — сказала Войтинская.

«Не могу. Четверть Шекспира, а его четверть стоит больше моих трех...»

«А ты знаешь, что Шекспир никогда этого не писал», — вмешался Арсений. — «Глупый перевод. У Шекспира «ветренность вам имя», а не «ничтожество вам имя»... Жизнь Шекспира окутана тайной, но гомосексуалистом он несомненно не был, любил женщин...»

Додо что-то бормотал.

«Не надо неприличностей, Додо, бросьте... Это старо, все знают», — остановила Войтинская, — «вы уже пьяны...»

«Я всегда пьян! Я не могу быть теперь трезвым... Страшно!» — впал он в минорный тон. — «Кровь! Кровь... Мне кажется, что и это тоже кровь оттуда», — показал он на лепестки.

Эти нотки все усиливались у него. Его давили ужасы войны. Ему, действительно, везде чудилась кровь, после того, как он съездил на фронт. Ночью он вскакивал с постели и кричал...

Додо любил Варшаву. Плакал, когда там при отступлении взрывали мосты. Уже все эвакуировалось, а он поехал в Лазенки, посмотреть в последний раз на дворец и парк, и там заплакал. Он осунулся, растерялся. Пил много и раньше, теперь стал пить еще больше...

* * *

Писал он в «Русской Газете» все меньше и меньше, и только брал авансы... Уже получал жалованье за девятьсот тридцатый год... Кащеев велел выдавать. Он любил Додо. Тот приходил к нему без доклада с шуткой или новым анекдотом в самые, казалось, неподходящие моменты, и всегда приводил старика в хорошее настроение.

«А жаль, Додочка, что вы мало пишете... Вы хорошо пишете», — сказала Войтинская.

Додо стал мурлыкать новую игривую песенку: он запоминал любой мотив и целые арии.

«Так ты же помни, Аристархов, что обещал. Везешь меня в Сиам...» — сказал Додо. — «Буду петь гимн богине Апсаре, стану монахом и не вернусь обратно... Там ведь нет войны и нет запрещения спиртных напитков...»

«В Сиам далеко, а вот в субботу еду в Финляндию ловить рыбу. Должен отдохнуть... Я как гоночный автомобиль — могу давать громадную скорость, но нуждаюсь в передышке, иначе могут заклиниться поршни», — сказал Грабельщиков.

«Ты сам всякого заклинишь», — возразил Додо, чокаясь чашечкой коньяку.

* * *

Грабельщиков тоже пил много и приставал к Войтинской, чтобы она пила.

«Все стараются меня испортить», — сопротивлялась она.

«Порченое-то и есть самое ценное, Мэри Николавна... Чтобы получить тонкие дессертные вина, нужно заставить виноград прогнить. Получается вино тонкое, густое, ароматичное, янтарного цвета. И крепкое. Это называется «благородное гниение». Женщины — как вино...»

Грабельщиков опять налил коньяку Додо и себе. Он всегда старался напоить другого.

«Люди распоясываются, напившись — во первых. Во вторых — непьющий проживет дольше: я в земле буду, а он, каторжник, еще жить будет, — не согласен. Пей...»

* * *

«Банкиры всех стран, соединяйтесь!» — приветствовал Додо проходившего Мамона.

Тот приостановился.

«Арсений Павлович, видите — хорошо, что послушались старого волка... спас вам сорок тысяч».

«Да... спасибо. Вы могли думать, что будет так слабо?»

«Я, знаете, всегда думаю, что будет или крепко или слабо, и на этом строю свои расчеты».

Мамон провел к выходу дам и другого банкира и вернулся к их столику.

Грабельщиков ругал биржу и рассказывал «последнюю сенсацию» о каком-то банкире.

«Это факт?» — спросил Мамон.

«Что такое факт? Выдумка — это факт, который еще не случился, но случится когда-нибудь... Тем более интересно узнать вперед».

«Знаете кто сидит здесь сейчас в кабинете?» — сказал Мамон, наклонившись к Арсению. — «Ваш родственник с деепричастиями. С князем Шаманским и Настей Чертенком — можете себе представить подобное сочетание!?.. Проводит, говорят, громадное дело, постройку железной дороги через их именье на Урале... Постройка должна начаться сейчас же после войны».

Додо опять весело каламбурил.

«Да-с, Грабельщиков, а тебе под занавес финик», — вдруг заявил он. — «Петечка назначен секретарем председателя совета министров».

«Почему не митрополитом?» — не поверил Грабельщиков: так это было дико, что даже он не поверил.

«Произведен в действительные статские и назначен секретарем. Да-с», — умышленно спокойно продолжал Додо. — «И будет сегодня здесь в генеральском мун-

дире. Я приехал с ним встретиться. Ты его все учил, теперь он тебя научит».

Грабельщиков нахмурился.

«К концу идем», — сказал он точно про себя.

«Все, все, что гибелью грозит.
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...»

— продекламировал Додо. «Ерго бибамус» — и он залпом выпил остававшийся в чашке коньяк.

* * *

Сидор оказался легок на помине. И теперь в черном сюртуке, с бегающими острыми глазками, он вышел из-под арки, ведущей к кабинетам, и пробирался между столиков к выходу. Он заметил Мамона, поднял руку ко лбу, точно собирался перекреститься, низко поклонился и направился к нему. Видимо, только подойдя ближе, он узнал Арсения, сидевшего к нему спиной.

«Еще раз мое почтение, Николай Моисеевич!.. Мое почтение, Арсений Павлович!..»

Его познакомили с остальными.

Он почтительно поцеловал руку Войтинской, на мгновение перевел глаза на Арсения, видимо сразу определил Додо, как журналиста, и, не выходя из рамок почтительности, остановил вопросительный взгляд на Грабельщикове. Арсений заметил, что Сидор сильно выпивши.

«Настя даже этого сумела подпоить»,—подумал он.

Лакей подвинул Сидору стул.

«Очень приятно... очень приятно, с вашего так сказать разрешения», — бормотал он, относя последнее к Войтинской.

* * *

Сидору налили бокал шампанского. Он не отказывался, поднял бокал и полез со всеми чокаться — на-

чиная с Войтинской, потом с Мамоном, потом с Арсением.

«Очень приятно познакомиться», — закончил он на Грабельщикове. — «Тамока стреляющее, тутока выпивающее, хе-хе-хе... кажному свое, как говорится, не человеческого ума дело...»

Точно вспомнив вдруг что-то, он стал шарить по карманам и вытащил пятисотрублевую бумажку.

«Разрешите, Николай Моисеевич, Петра Алексеевича в дополнение к подписанному на ваше благотворительное...»

Додо в это время повернул стул в полоборота к Сидору и строил смешные рожи, передразнивая его. Войтинская еле удерживалась от смеха.

«Моя супруга тамока в нашем городе почетная председательница поезда с высочайшего соизволения, одно другого не касающее... Ты нас обороняющий, мы тебя снабжающие... кажному свое от Господа Бога положенное...»

Додо повернул стул в прежнее положение, чокнулся с Сидором новым бокалом и сказал:

«Как бы только тамока стреляющее сюда не пальнуло...»

Сидор понял, но сделал вид, что не понимает.

* * *

Рядом за столиком сидел маркиз Ричи, с женой и дочерью. Подчеркнуто изысканно одетый, с орхидеей в петлице. В иной обстановке и костюме его можно было принять за калабрийского разбойника — уверяли, что он и был когда то, — но здесь его считали аристократом, богатым и уважаемым человеком.

Всему Петербургу была известна его скандальная домашняя история, но она ему не мешала, а скорое увеличивала его популярность. Дочь была не его, а от первого мужа его жены, красивая брюнетка. Удачная смесь итальянской и русской крови. Он сделал ее своей любовницей и заставил жену примириться с

этим. Теперь мирно жили втроем, и все трое были довольны. Всюду бывали втроем.

Амур Амурович возмущался:

«Она прелэстная, верно. Но как можно все с одной и одной? — это волком завоешь, потэнцию потеряешь». — Он произносил слово «потэнция» подчеркнуто, с мягким, польским акцентом.

Грабельщиков кивнул головой в сторону Ричи:

«Мальчишки мы в сравнении с ним. Мы от русского пирога кусочки отковыриваем, а этот каналья по всему миру жатву собирает».

«Что он делает?» — спросила Войтинская.

«Что он делает?.. Черт его знает, что он делает... Торгует международной подлостью».

* * *

Войтинская хотела расспрашивать дальше, но танцующая пара оказалась как раз у столика, пахнуло приятно-жгучим, возбуждающим запахом крепких духов и разгоряченного женского тела. Мамон облизнулся.

«Чертовски божественный запах»...

Пара танцовала. Пили. Приезжали и уезжали. Было весело. Отсюда большинство ехало в кабинеты. У Кюба, Донона, у Медведя, особенно в Аптекарском было трудно достать кабинет: доставали только свои, сказавши магическое слово по телефону.

Неправду говорили про петербуржцев, что они не умели веселиться. Они веселились, и война только помогала. Стало еще больше денег, стало больше остроты в весельи. Танцовали на вулкане...

Как будто даже Сидор, и тот научился по своему веселиться...

XVIII.

«СЕКСУАЛЬНОСТЬ ПРАВИТ МИРОМ...»

Мамон расположился на тигровой шкуре, у ног Войтинской. Терся щекой о ее туфельку, точно хотел стереть всю пыль. Потом осторожно снял туфельку и легонько кусал пальцы.

«Прекрасная женщина!.. Мне больше ничего не нужно... Ничего, только целовать ваши ножки, только вдыхать ваш аромат, только сознавать, что между мною, старым Квазимодо, и этой прекрасной женщиной есть маленькая интимность...»

«Положим, старый мандрил, вы не довольствуетесь поцелуями одних ножек...»

«Потому, моя прекрасная, что ножки понятие растяжимое, и потому что должен же я думать не только о своем удовольствии, но и о вашем».

«Мне, мандрил, не нужно от вас ничего, кроме денег».

«Вы клевещете на себя. Вы женщина прежде всего, женщина чудная, прекрасная, и я имею доказательства этого».

«Мандрил, не смейте вдаваться в подробности».

«Не буду... не буду, прекрасная! Как многим я вам обязан, как я благодарен вам... Вы для меня источник энергии, уверенности в себе. Без вас я не мог бы больше работать... Никакие Карлсбады, никакой Штейнах не могут мне дать этого. Деньги — ничтожная плата за то, что я получаю от вас. Я получаю жизненную энергию, я чувствую себя моложе на десять лет... может быть на двадцать. С тех пор как вы, наконец, разрешили себя целовать и особенно с тех пор, как я увидел, что и вам это не противно...»

«Не смейте, мандрил, я сказала».

«Не буду, моя прекрасная... не буду. Но поймите, что это так важно... Мне шестьдесят, я считал се-

бя уже отвратительным старнком, я думал, что могу внушать женщинам только отвращение. Ни от одной я не мог узнать правды, все лгут из-за денег. Одна вы не солжете... Вы ничего и не говорили, вы никогда ничего не скажете. Но я почувствовал, я счастлив, как не был уже двадцать лет... Может быть, никогда не был так счастлив. Я вам так обязан!.. Нет цены, которой я не мог бы заплатить вам... Я не знаю, кто писал трагедии Шекспира, он сам или Бэкон, или еще кто-нибудь, но они гениальны, в каждой из них разбросано гениальное:

That man that has a tongue, is no man,
If with his tongue he cannot win a woman.

Только теперь я понял глубокий смысл слов гения...»

* * *

Мамон говорил все еще лежа на ковре. Все время на его лице была улыбка, какую не привыкли видеть окружающие, и эта улыбка делала его некрасивые черты приятными и даже привлекательными.

«Старая мандрилка, не приписывайте Шекспиру того, в чем он неповинен. Он не то хотел сказать, что вам лезет в голову... Если бы кто-нибудь увидел, как вы, Мамон, гроза биржи, валяетесь по ковру, растрепанный, со сбитым пробором и лижете ботинки какой-то актрисы, подумали бы, что вы сошли с ума, и на бирже была бы паника».

«Паника, нет!.. Ничего не было бы. Некоторые, мнением которых не стоит дорожить, может быть удивились бы или просто не поверили, но все умные и серьезные люди сами это делают, моя прекрасная... Когда человек теряет сексуальность — он кончен. Если у него ее не было и раньше — он бездарность, слизняк. Аскеты ничего не создали, кроме печали, а которые создали — те почерпали энергию в борьбе с особенно сильною сексуальностью. Искушение святого Антония было у многих... С этими бездарностями не надо иметь дела. Такой подведет и себя и другого.

Разговаривать с ним все-равно, что жевать вату. Когда будут фотографии лучей человеческого тела, около него будет темно, пусто. Около него холодно... Около него вянут цветы, и женщины от прикосновения к нему старятся... Моя прекрасная, если вы встретите умного и интересного человека, и он будет сторониться женщин, будет холоден с ними, будет избегать сексуальных разговоров и высказывать мысли аскета — не верьте ему! Знайте, что самые его сильные импульсы принадлежат женщине, может-быть какой-нибудь девочке шестнадцати лет, и он бегает тайком к ней на свиданья, бросая самые важные и неотложные дела... Оставляет где-нибудь у подъезда свой автомобиль, крадется в проходной двор, оттуда бежит к ней и на наемном автомобиле едет в укромный кабинетик... Или, как гимназист, катается с нею в лодке на глухом озере... Когда обсуждаются серьезные вопросы в соединенном заседании банков правящих страною и он морщит лоб от напряженной мысли, будьте уверены, что он думает в это время о ней, и неудачное решение многомиллионного государственного дела зависит от маленькой ссоры, бывшей накануне... Да, прекрасная, это не шарж, это сама реальность...»

* * *

На парадном позвонили.

«Это Арсений с Цветковым...»

Мамон хотел уходить, но Войтинская остановила:

«Вам будет интересно... оставайтесь».

Она давно хотела познакомиться с Цветковым. Семен Семенович Цветков, знаменитый писатель, интересовал всех.

Маленький, плюгавенький, с жиденькой бородкой и потными руками, казалось он должен быть для женщин отталкивающим. Уйдя от него, хотелось первым делом вытереть руки после его потного прикосновения. Но женщины интересовались им...

Читая назавтра его статьи, с блестками гениальности, хотелось видеть опять живого Цветкова. Цветкова называли порнографической натурой. Это было неверно. В Цветкове было столько обнаженности, что не могло быть уже речи о пошлости или порнографии. Он шел до обнаженности мраморной статуи. Неприлична полуприкрытая, хихикающая над намеками пошлость, а в Цветкове был обнаженный белый мрамор мысли...

Цветков больше всего писал по сексуальным вопросам: у него была религия полового акта.

* *
*

Арсений заехал к нему, чтобы привезти его к Войтинской.

Цветков жил в пятом этаже. На промозглой лестнице пахло котами. На звонок в переднюю высыпала орава детей в шерстяных платках. Потом выплыла сама супруга, большая, пожилая, расплывчатая, сдобная баба. Как живой парадокс: певец сексуальности — и вдруг такая баба и такая орава детей!

«Аристархочка, здравствуйте... Пожалуйте к нам. Вот видите, какая у меня семейка!»

В кабинете над письменным столом полки были уставлены собственными произведениями Цветкова. Каждая книга в ином переплете.

«Вот к этой непременно надо было синий», — сказал Цветков, любовно беря книгу с полки.

На столе лежала раскрытая история Египта, роскошное английское издание. Эту он взял на несколько дней у Арсения.

«Замечательная книга... Откровение!.. В рисунках — с языком я плохо справляюсь. Надо бы на русский перевести».

* *
*

Арсений торопился.

«Семен Семеныч, я заехал за вами, хочу вас повезти к Войтинской».

Цветков знал, понятно, кто такая Войтинская. Он не удивился — он привык, что его зовут то туда, то сюда в незнакомые дома. Показывают, как редкость. Ему нравилось бывать в новых домах. Он держал себя там свободно, ничем не смущаясь. Понимал, что за эту свободу его и зовут. Что смотрят на него, как на человека не совсем нормального, но за эту то ненормальность и зовут.

«Сейчас не могу, Аристархочка... Нужно ехать на заседание религиозно-философского кружка, обещал быть непременно. Доклад там читаю».

«Бросьте, заседание другой раз будет. Войтинская ждет — едем...»

«Я никогда на автомобиле не ездил, Аристархочка... Я боюсь».

«Что вы, Семен Семеныч!.. Никогда не ездили?»

«Верно, верно, не ездил, Аристархочка... Аннушка, благослови, на автомобиле еду...» — обратился он к жене.

Та улыбнулась, но перекрестила его и поцеловала в потный лоб с жиденькими, растрепанными волосиками.

* * *

Вышли на подъезд. Сели в большой открытый автомобиль. Арсений посадил шофера сзади, сам сел к рулю.

«Это ваш автомобиль, Аристархочка? Такой большой!.. А что это впереди такое беременное?» — указал Цветков на крышку мотора и радиатор. — «Не убьете меня, Аристархочка?.. Это не страшно?..» — шепелявил он.

Когда выехали за-город, разлетайку Цветкова стало трепать ветром, сорвало с него шляпу. Он ухватился за Аристархова обеими руками:

«Не надо... не надо! Не хочу еще умирать... Вы видели, сколько у меня детей... Еще маленькие...» — совсем серьезно причитал он.

Прежде, чем ехать к Войтинской, Арсений нарочно поехал за Выборгскую заставу, на шоссе.

Когда повернули обратно, ветер был сзади, Цветкову стало нравиться.

«Есть что-то особенное в автомобиле, героическое... Хочется полететь. Вы мне, Аристархочка, папироску дадите?»

Арсений подал портсигар.

«Нет, вы закурите для меня... Возьмите в рот и закурите. Обслюнявьте папироску, я так люблю... Вы ее пожуйте немножко, чтобы была мокренькая».

* * *

Горничная ввела Цветкова и Арсения в будуар. Плюш пронзительно, и как всегда глупо, залаял.

«Я ваш большой поклонник», — сказал Мамон, — «у меня есть все ваши книги».

«Да, книги мои идут... Только вот фамилия у меня неприятная, и имя тоже... Семен Семенович Цветков. Еще бы лучше — Сахар Сахарович Цветочкин. Сладенькое такое, липкое», — ни с того ни с сего начал Цветков. — «Понимаете, в этом самом повторении имени — умышленная подчеркнутость. Нарочно это сделано».

«Кто-же это нарочно сделал, Семен Семенович?» — засмеялась Войтинская.

«Как кто?! Рок... Все рок делает... Когда мир был еще парообразной туманностью, было уже назначено жить в Петербурге, в Басковом переулке, на пятом этаже, Семену Семеновичу Цветкову, вот с такой бороденкой», — дернул он себя за жиденькие волосы.

«Я вашу книгу захватил», — обратился он к Арсению и подал ему завернутый в газетную бумагу английский том.

«Такую книгу зачитывать нельзя, замечательная книга...»

Раскрывши ее наугад, Арсений увидел забытый там листок, весь исчирканный пером. Много раз вдоль и поперек повторялись слова: «Изида, Озирис, Пречистая Дева». А кругом все было зарисовано схематическими изображениями половых органов — мужских и женских. Видимо, Цветков, над чем-то думал и все время это рисовал. Потом забыл бумажку в книге...

«Не отдам ему бумажку», — мелькнуло у Арсения. — Поразительный документ... Со временем, когда умрет Цветков, будет музейной вещью, материалом для его биографии... Один из ключей к раскрытию тайников души человеческой...»

* * *

Отойдя в сторону, когда Цветков что-то начал рассказывать Мамону, он показал листок Войтинской. Та едва удерживалась, чтобы не расхохотаться.

Цветков отказался от кофе и вина и попросил чаю.

«Семен Семенович, пирожных может-быть?»

«Пирожных? Нет, спасибо... Вот, кажется, там сушечки у вас...»

Он взял с тарелки сушек, наложил в стакан и стал размешивать. Мешал, пока сушки сделались склизкими, размокли. Вытаскивал их ложечкой, клал пальцами в рот и обсасывал. Именно такие ему нравились: чтобы были мокрые, теплые, осклизлые... И в это время говорил об египтологии, рассказывал какую-то подробность в «ключе власти», которую нашел в этом новом английском томе.

Когда встали, Цветков оказался в дверях рядом с Войтинской. Вдруг он покраснел, заблестели и замаслились глазки, лоб стал еще потнее, и он взял тихонько Войтинскую за грудь.

«Грудочки какие! миленькие... Позвольте потрогать. Я ведь так, эстетически, без всякой плохой мысли... Священнодействуя».

Войтинская хорошо знала Цветкова по рассказам, но тем не менее была озадачена. Всякому другому она дала бы пощечину, но здесь только рассмеялась и отскочила. Тот погнался за ней в столовую, кругом стола, повалил два стула по дороге, зацепил столик с цветами.

«Миленькая, дайте попробовать... Только дотронуться... Грудочки какие божественные...» — шепелявил Цветков, брызгая слюной и задыхаясь, не обращая внимания на Арсения и Мамона.

Наконец, он зацепился за ковер, растянулся и разбил нос. Сцена была глупая, смешная, безобразная.

Вроде этого бывало с Цветковым нередко и за такие именно выходки им интересовались женщины. В него влюблялись молоденькие девушки. Только из-за заячьей трусости Цветкова это не переходило в серьезный роман.

Природа захотела подурачиться, взяла горсточку ярких кристалликов гениальности и бросила их в самого неподходящего — по понятиям людей — человека. И получился Цветков...

XIX.

БИРЖА.

Петербург питался остальной Россией. Как роскошная орхидея гниющим мясом. Зато тут создавались призрачные ценности. Росли призрачные миллионы...

Как древний Рим, он жил грабежом соседних областей; только формы грабежа стали иными...

В любом месте земного шара из ста миллионеров девяносто девять сделали свои миллионы на бирже.

Самый поразительный механизм современного строя — биржа. Семь чудес древнего мира давно устарели и сданы в архив истории. В мире теперешнем одно из семи чудес — биржа. Мало кто назовет биржу наравне с радио, аэропланом, спектральным анализом, имунными сыворотками, Панамским каналом. Но тем не менее она занимает одно из первых мест среди современных чудес.

Биржа творит миллионы, как будто ни от кого не отбирая их! Под психическим наркозом биржа безболезненно обирает человечество в пользу немногих.

Биржа сажает и свергает королей и правительства.

Биржа делает войну и останавливает ее. Орден банкиров заменил орден иезуитов.

Биржа направляет мировую историю...

* *
*

Вдруг бумага начинает расти. Месяц назад стоила двести, сегодня — триста. На бирже на миллиард бумаг, и все увеличились на пятьдесят процентов! Чудом создалось новых пол-миллиарда и кучка людей поделила их между собой. В дележе участвоали сначала многие, но в результате осталось все у немногих...

Волшебством деньги выкачаны из карманов работающих, у создающих настоящие ценности. У рабочего фабрики, у земледельца, у ученого, у швеи, у писателя, у изобретателя... Мужик собирал политый пòтом урожай, а большая часть прибыли чудесно оказывалась в Петербурге, в акциях элеваторов, железных дорог, фирм экспортирующих хлеб; плантатор срубает сахарный тростник, продукт его шестнадцати-месячной работы под тропическим солнцем, а прибыль уже котируется на нью-иоркской бирже, в акциях ирригационных компаний, сахарных заводов, пароходных обществ; писатель создает неумирающий образ, много лет кристаллизовавшийся в его мозгу, а от этого на лондонской бирже поднялись акции большой издательской фирмы или кинематографической компании...

Биржа! ты величайшее чудо нашего времени, и тебе еще не написаны подобающие гимны, и еще не произнесены заслуженные тобою проклятия...

* * *

Попавши в гущу петербургской жизни, Арсений быстро понял, что для миллионов нужна биржа. Все остальные дела, в том числе и газета, литературная работа, связи, нужны только как трамплин.

Все остальное нужно только, как ключ к дверям, ведущим в тайники биржи...

И другие Аристарховы были теперь уже тут. Подряды их больше не интересовали. Их акционированные предприятия распылились теперь в виде акций. На каждой акции была взята уже хорошая разница, и они были несменяемыми директорами, с многотысячными окладами и тантьемами. По книгам на счет предприятия записывались все личные расходы, оплачивались автомобили, поездки, обеды, подарки. Бухгалтерия — одна из отраслей черной магии. И Сидор быстро постиг возможности, какие дает бухгалтерия...

* * *

Биржа нервничала.

Вечером в пятницу некоторые бумаги котировались на тридцать-сорок рублей выше дневной, официальной цены. Торговали в банковских кабинетах, в мелких банкирских конторах, в кафэ. Торговля шла просто на тротуаре около банков или в подъезде. Служащие банков, перегруженные работой, сидели до полночи, и давно бы забастовали и бросили службу, если бы им не разрешали играть самим. Играли все. С неба сыпались миллионы.

В субботу биржи не было. Но утром вдруг, по непонятным причинам, стало слабее. Цены упали на десять-двадцать рублей, хотя в банках осталось много невыполненных приказов на покупку и все поступали

новые из провинции, и было ясно, что в понедельник будет очень крепко. Большинство приказов шло без лимита, покупать по какой угодно цене.

С войны известия были нерадостные, между строк читали трагичное и, понятно, биржа должна была итти вверх. Чем хуже, тем лучше.

«Почему вдруг понижение?» — спросил Арсений по телефону заведующего фондовым отделом большого банка.

«Спекуляция берет разницу... Это не надолго», — ответил тот.

Это был один из магов биржи. Он продавал и покупал ежедневно для своего банка на миллионы. У него был уже свой миллион. Сделал его во время войны. Он разговаривал уже не со всеми и был любезен с Арсением только потому, что знал о его дружеских отношениях с председателем правления.

* * *

Цены делались до позднего вечера, даже ночью. Утром в субботу Арсению предлагали в банке Мамона семьсот бакинских по восемьсот, как особое одолжение.

«На какой цене кончилось вчера?»

«Семьсот сорок».

«Семьсот сорок! Тогда дорого восемьсот... Шестьдесят рублей разницы. Нельзя-ли семьсот семьдесят?..»

«Нет, нет, Арсений Павлович... Это только для вас по восемьсот. Сейчас восемьсот «деньги», на какое угодно количество».

Арсений почему-то не взял.

В субботу ничего не случилось, что могло бы неблагоприятно повлиять на биржу. Хороших известий с войны не было, а только этого боялись. Кто-то сказал по телефону, что бакинские пойдут до тысячи. Есть большой приказ из Парижа. Арсений нервничал, жалел, что не взял. Позвонил вечером домой к двум маклерам, но у тех товара не было.

* * *

В воскресенье были особо печальные вести с войны. Значит война затягивается, значит биржа будет еще крепче, значит игра обеспечена еще надолго вперед... Такова была логика биржи.

Ночью в воскресенье Арсений видел в редакции телеграмму и не спал всю ночь, и не мог простить себе, что не взял по восьмисот.

«Будут в понедельник восемьсот пятьдесят, а то и выше... Потерял тридцать пять тысяч... Глупо».

В воскресенье по телефону опять ничего нельзя было купить.

«Все крепко и товару нет», — отвечали везде. — «В понедельник будет сумасшедшая биржа...»

Утром в понедельник поехал в банк в девять часов, чтобы поспеть до биржи. Решил купить по цене какая будет.

«Сейчас нет цены... Через несколько минут будет биржевая котировка. Называют восемьсот двадцать пять»,—ответили у Мамона.—«Подождите немножко».

Пошел к самому Мамону, но ничего не вышло. Дал приказ купить по первому биржевому курсу и назначил лимит в восемьсот пятьдесят.

* * *

Едучи из банка в автомобиле, стал жалеть, что лимитировал приказ.

«Может быть курс будет восемьсот шестьдесят и из-за десяти рублей не купят, а к концу биржи могут быть девятьсот, если правда, что покупают на Париж...»

Хотел вернуться в банк, уже снял с крючка рупор, чтобы приказать шоферу ехать обратно, но опять почему-то не сделал этого. Из конторы сейчас же телефонировал в банк и просил покупать без лимита.

«Уже куплены». — ответили оттуда, «по семьсот сорок».

«Куплены?!.. Почем?»

«По семьсот сорок».

«По семьсот сорок бакинские?!.. Не может быть».

«Да, по семьсот сорок, господин Аристархов... Очень слабо сегодня».

Арсений не мог притти в себя. Десять минут тому назад он просил их по восемьсот и дал лимит по восемьсот пятьдесят.

«Разница в сто тысяч рублей!.. Я их заработал на том, что ошибся... Но все-таки глупо, что приказал купить по первому курсу, расчитывая на очень крепкую биржу. Очевидно, дальше будет еще слабее...»

Но в два часа бакинские были опять семьсот семьдесят! Биржа опять окрепла.

Это нервничанье, эти необъяснимые понижения и подъемы делала широкая публика, в особенности провинциальные приказы. Провинция всегда запаздывала и выходило так, что она покупает, когда дорого, и продает, когда дешево. Это нервничанье было выгодно магам биржи, кучке стоящих наверху...

* * *

Арсений сделал на бирже уже около двух миллионов. Но не такими случайными покупками.

Иначе.

Вводя на биржу акцию или делая новый выпуск, банки расписывали часть акций директорам, крупным акционерам и «своим людям». Акция записана по сто сорок, а первая котировочная цена будет сто восемьдесят: потеря невозможна! Может быть только выигрыш. Это был один из верных способов. Но нужно быть «одним из своих».

Арсений был уже «одним из своих» в нескольких банках, благодаря связям с директорами, а эти связи, в свою очередь, шли через «Русскую Газету», через Шервин, через Войтинскую, через великосветский альманах, через целый ряд случайностей и возможностей, представлявшихся на каждом шагу. Надо было только уметь комбинировать. Уметь дергать за должную ниточку.

Банк получает приказ из Парижа или Нью-Иорка покупать такую-то акцию. В Париже или в Нью-Иорке образовался консорциум для покупки контрольного пакета. Директор, знающий об этом приказе, покупает и для себя и для своих людей наверняка. Потеря невозможна...

Акция стоит сейчас триста, а лимит данный из Парижа — четыреста, и можно абсолютно наверняка покупать ниже четырехсот и продать по четыреста, а может быть и много выше, если публика, стадо, войдет в игру. Публика накинется на бумагу тогда, когда уже скупка для Парижа закончена. О таких приказах говорить нельзя, иначе узнает биржа и курс сразу вскочит до лимита. Но кое-кому из своих можно сказать...

Четыре-пять биржевиков завтракают после биржи у Кюба и решают вести такую-то акцию: скупать свободный товар, муссировать слухи о барышах и видах предприятия, написать что нужно в газетах. Скупают все, что появится на бирже, хотя бы все по растущей цене. Когда цена взвинтится, когда акцией заинтересуется стадо, тогда начинают осторожно продавать, все еще муссируя разные слухи. Заработок тоже безошибочный...

* * *

Против «пуля», решившего поднимать акцию, может тайно образоваться «контр-пуль». Ворон ворону глаз не выклюет — но не все биржевики друзья. Одни сговариваются против других. Чем больше первый «пуль» будет покупать, тем больше второй будет продавать «в бланк». Бланкировать — это значит продавать то, чего нет. Продавать со сдачей через известный срок в расчете что к тому времени цены понизятся и можно будет купить дешевле, чем запродано.

При таком столкновении «пулей» можно потерять. Но есть способы застраховаться. Образуют особое общество или маленький банк и от имени его начинают покупать. Общество или банк является только подставной организацией. Если все пройдет благополучно,

будет барыш, акции будут подняты и останутся на этой высоте или во время будут распроданы стаду, все обойдется шито-крыто. Но если окажется, что «контр-пуль» был сильнее и выйдут большие потери, в миллионы, то в крайнем случае обанкротится это подставное общество, но сами биржевики пострадают мало... Опять заплотит стадо или несколько других организаций, а те в свою очередь свои убытки переложат на стадо...

Впрочем теперь, когда все лезло вверх и не видно было конца, такой опасности не было.

* * *

Нужно иметь пятьдесят один процент акций данного предприятия и тогда можно не спрашивать остальных акционеров. Не нужен и пятьдесят один процент: покупающий акции на «онколь» — а почти все покупают на «онколь» — оставляет акции у банкира, и с этими чужими акциями банкир идет на общие собрания и там решает что нужно.

Выпускается новая акция — заработок банкира обеспечен...

Увеличивается капитал — заработок банкира обеспечен...

Сливаются два предприятия — заработок банкира обеспечен...

Нет войны — заработок банкира обеспечен, потому что накопляются запасные капиталы...

Начинается война — заработок банкира обеспечен потому, что падает ценность денег...

Что бы ни случилось — заработок банкира обеспечен!

Даже когда банк разоряется, банкир остается с деньгами! «Где река текла, там всегда мокро будет» — так говорил один из них.

* * *

Арсений уже не сомневался. Он считал наивными тех, кто не играет на бирже. Он не видел силы, которая может разрушить ее могущество.

«Крушение капитализма? Но это далеко, дальше конца наших жизней...»

Каждый день он подсчитывал прибавление своего капитала. Редко-редко бывал день с уменьшением; всегда был прирост, вопрос только — какой? Он мечтал когда-то о миллионе, теперь шел уже третий, и он не думал еще остановиться, не начинал еще ту культурную работу, о которой мечтал все время.

В биржевой спешке, среди концентрированных столичных впечатлений, некогда было думать об изменении жизни. Едва поспевал за событиями. И было уже гораздо легче работать. Самая трудная работа, когда нужно постоянно решать, что делать, чего не детлаь, — а тут уже все было ясно.

«Миллион — теперь так мало!.. Деньги быстро теряют свою покупную способность...»

А главное, рядом все выростали люди с десятками, может быть сотнями миллионов. Еще в Америке он увидел, что один миллион — это мелочь. Нужно много миллионов, тогда только можно быть вне толпы, только тогда имеет смысл заняться уже чем-то большим и высоким... И так легко и быстро расли теперь эти миллионы, что было бы глупо остановиться.

«Вот еще немного, хоть удвоить имеющееся и тогда заняться настоящей, честной, нужной, любимой работой...»

* * *

Каждую новую тысячу он встречал, как лучшего друга. Ласкал, как любимую женщину.

Банковое письмо или квитанцию, или обрывок бумажки, на котором делал свои подсчеты вновь пришедших денег, он подолгу носил в кармане и, когда никто не видал, в свободные минуты, разворачивал, любовно смотрел, еще раз подсчитывал и радовался. Еще и еще раз.

На эти деньги еще не куплены никакие блага жизни, они были еще нереальны, отвлеченны, но уже доставляли реальное удовольствие. Самые эти подсчеты прибылей были удовольствием. Однако рядом пробивалась наружу тревога:

«А как бы не потерять!»... Но всетаки было больше удовольствия, чем тревоги.

Если изредка случалась потеря, он прятал такую запись подальше. Старался забыть о ней, не переживать еще раз это неприятное чувство. Вытаскивал эту бумажку только тогда, когда потеря была уже покрыта новыми прибылями... Потери не записывались на главную бумажку, а из новых прибылей вычиталась потеря и записывался только чистый плюс!

Эта главная бумажка давно уже была исписана вдоль и поперек, уже стала рваться по сгибам, уже не было места для новых записей, но он продолжал записывать именно на ней: совсем микроскопическими цифрами, на узеньких белых пространствах между старых строк. Потом подклеил к ней еще клочок... Знал хорошо, что это глупо, что эта бумажка ничем помочь или помешать не может и всетаки хотелось продолжать записи именно на ней, так как на ней везло, а на другой может быть не повезет. «Идиотство!» — думал не раз. — «Какое значение в бумажке, причем тут этот клочек прессованной тряпки?.. Какое может быть от него везенье или невезенье?.. Никакого везенья и невезенья вообще не бывает, все от себя самого, от логики вещей. Правильный расчет, уменье использовать обстоятельства, лучше других ориентироваться, все учесть, понять законы строя, времени, психику толпы и отдельных людей — в этом суть!..»

И всетаки не бросал эту бумажку. Не хватало решимости. Касайся дело чего угодно другого — бросил бы. Но тут самое дорогое, самое важное, самое милое — деньги, миллионы...

* * *

Все росло.

«Если бы шло так и дальше, у меня через пять-шесть лет будет десять миллионов... Но так всегда итти не может, не вечно же будет подъем на бирже?.. Надо выйти из биржи вовремя — в этом главный секрет... Заработать не так трудно, как удержать...»

Опять в сотый раз подсчитывал.

«Через сколько лет наверно будет десять миллионов? Что я сделаю тогда? Пойду ли еще дальше или остановлюсь на этом? Зачем собственно больше десяти миллионов? При самом верном помещении с десяти миллионов можно пользоваться уже всей роскошью жизни. Для этого и десяти не надо... Но дальше идет власть миллионов, могущество миллионов. К этому стремиться не нужно. Иначе когда же жить, когда же пользоваться плодами наживы, если все время только наживать?.. Ну, там посмотрим. У других ведь больше, чем десять. Посмотрим... Пока об этом бесцельно думать, еще далеко. Пока надо прибавлять, прибавлять, прибавлять... Надо пользоваться этой особо благоприятной конъюнктурой, как говорят дельцы. Конъюнктура — какое глупое слово!» — мелькнула тут же мысль.

Он опять вытаскивал из кармана заветную бумажку, опять подсчитывал, складывал, радовался, иногда разочаровывался, что пошло так медленно. Но всетаки это было настоящей радостью.

Только прорывавшаяся боязнь чего то портила ее...

* *
*

Так шло неделя за неделей, месяц за месяцем, и близился день, когда все расчеты будут вдруг перевернуты, взорваны... Смолоты в муку. Этот день приближался из вечности с увеличивающейся все скоростью и его приближение еще ускоряли такие, как он, Арсений, как Мамон, как Аристарховы, как все те, кто делал деньги; как Шервин, как Грабельщиков, как весь тот один процент людей, отделенных пропастью от остальных девяносто девяти процентов...

XX.

КОНЕЦ ЕСТЬ НАЧАЛО.

Известия с фронта были трагичны. Но к этому давно уже привыкли. Биржа нервничала, но шла вверх.

Забастовки прибавляли нервозности, но бумаги всетаки повышались...

Сегодня, в субботу, было понижение: в Петербурге бастовало несколько заводов. Так объясняли в биржевых отделах газет. В действительности влияло не это: биржа должна повышаться и понижаться, чтобы деньги уходили из карманов многих в карманы немногих.

Арсений сидел в кабинете Мамона на Невском. Напротив, за большим александровским столом красного дерева с бронзой сидел сам Мамон, спокойный, как бронзовое божество, от которого он по капризу судьбы взял свою фамилию.

«Сегодня ниже, завтра выше... Ведь это биржа, Арсений Павлович! Биржевые волны — так и должно быть. Везде волны, все во вселенной волнообразно».

«Я знаю, что вы философ, Николай Моисеевич, но всетаки наростают события, в воздухе гроза».

«Гроза, хорошо!.. После грозы бывает хорошая погода. Если бы биржевая погода не менялась, нельзя было бы работать на бирже».

Мамон не обеспокоился даже и тогда, когда заведующий онколем растерянно вошел в кабинет: на Невском остановились трамваи...

Мамон привстал с кресла, посмотрел в большое зеркальное окно, опять сел и священнодейственно закурил сигару.

«Пора завтракать... Пожалуй, не проедешь к Кюба в автомобиле? Пойдемте пешком».

* * *

На улице столкнулись с кучкой женщин-работниц. Одна из них, маленькая, молодая, со смелым лицом, особенно запомнилась Арсению.

«Отчаянная» — подумал он.

Она шла по тротуару впереди своей кучки и, ни к кому в частности не обращаясь, громко говорила, почти кричала:

«Нам хлеба дайте!.. Мы ничего другого не хочем. Хлеба только просим... Чего там разгонять да стрелять, хлеба дайте... Изголодались... Разве запрещено хлеба просить?»

«А ведь она права...»

Арсений посмотрел на зеркальные окна банка. Точно вдруг открылась ему пропасть между психикой людей, сидящих там, в кабинетах, и этой работницей. Там думают о миллионах, тут о хлебе!

«Разве меня когда-нибудь интересовала цена хлеба?»...

Улица была особенная, нервная, не похожая на всегдашний Невский. Но никак еще нельзя было подумать, что это уже последний день, когда на углу Невского и Морской стоит всемогущий помощник пристава в белых перчатках...

* * *

Воскресенье Арсений просидел дома. По телефону сказали, что на Троицком мосту стоят патрули, но в городе спокойно.

Говорят, что перед великими событиями бывает предчувствие. У Арсения его не было. Было давно уже общее неопределенное беспокойство, думал даже весной вообще уехать из Петербурга за границу, но сегодня именно, никаких особых предчувствий не являлось.

Перед обедом, в семь часов, он позвонил по телефону к градоначальнику. Они сидели рядом с ним в балете.

«Здравствуйте, ваше сиятельство! У телефона Аристархов. Мы сегодня должны быть с вами в балете, первый абонемент... Можно ехать, не задержат по дороге?.. Не предвидится особых волнений?»

«Ехать, понятно, можно», — уверенно ответил градоначальник, — «только будьте осторожны: на Морской набросано много битых бутылок, шины попортите».

«Тогда я лучше не поеду».

«Напрасно... объезжайте Морскую. Абсолютно спокойно, пустяки. Я распорядился, часа через три бутылки уберут, обратно можете по Морской ехать».

Арсений не поехал на это последнее абонементное представление в Мариинском театре.

Назавтра началась величайшая революция...

* * *

Утром трамваи не ходили.

Повар пошел было в город за покупками, но вернулся с Каменноостровского.

«Нельзя пройти, везде патрули и стрельба слышна», — доложила горничная.

Позвонил по телефону в редакцию «Русской Газеты». Там никого не было, только курьеры.

«В это время всегда никого нет», — подумал он. Позвонил в несколько банков — там уже было замешательство.

Биржа не работала. Город был полон слухами. Из редакции вечерней газеты, куда удалось дозвониться, сообщили:

«Протопопов назначен диктатором... Государственная Дума отказалась подчиниться указу о роспуске...»

Часа в четыре узнал, что горит на Литейном окружный суд и дом предварительного заключения.

Он ничего не ответил, повесил трубку и опустился в стоявшее рядом глубокое кресло.

«Кончено!..»

* * *

Просидел долго, не двигаясь, глядя в одну точку. Только что закуренная сигара выпала из руки и прожгла ковер. Не заметил запаха гари. Прошлое смеши-

валось с будущим — настоящего не было. Вероятно так вихрем проносятся мысли перед лицом смерти.

...Прошлое — двадцать слишком лет — неслось в мозгу, точно кинематографическая лента.

«Бо̀льшая, лучшая половина жизни ушла на борьбу за обладание деньгами. Распродавалась душа... Ежедневно были сделки с самим собою. Привязанности, любовь, книги, искусство, уважение к самому себе — все выменивалось на деньги. Одна вера, один Бог, один авторитет, одна святыня — деньги...»

«...И вот все это ничтожно, рассыпалось!.. Разрушился фундамент, на котором стояла вся хитрая постройка моего права на миллионы... Весь этот ворох документов там, в шкафу, вчера такой ценный, связывавший такими хитросплетениями мои права с правами сотен и тысяч других — сегодня ничтожен...»

«Пришел хозяин — народ, толпа. Что дал им? Что для них сделал?...»

«Существовавшее было удобно для деланья миллионов и этого было довольно, чтобы держаться за него, не думать о другом...»

* * *

Было жутко, холодно. До слез жалко всего. Но если бы сейчас ворвались в дом и стали громить, он не протестовал бы.

Он скажет толпе, если она ворвется:

«Не ломайте... зачем?! Возьмите, что хотите, но зачем же уничтожать... Ведь все это ценности, все это пригодится».

Был бы страх, но не было бы злобы...

Такой перелом — не перелом, а разрыв, без последовательности, без постепенности, — не мог явиться вдруг, в одну минуту, оттого, что горит окружный суд. Очевидно, давно уже, может быть в течение всей жизни, в подсознании шла работа. Оно критиковало и осуждало то, что делалось сознательной волей. Мысли, переживания, впечатления негодные для религии денег,

отметались разумом, отодвигались прочь: но они не пропадали, не уходили, а укладывались в подсознании; накапливались, ждали момента, когда прорвутся в сознание и завладеют им — и сейчас это случилось...

Не было еще как будто ничего трагичного, ничто не изменилось... Построют новый окружный суд и дом предварительного заключения. Через два-три дня будет новое правительство — может быть оно уже сформировано и берет в свои руки власть? Или, может быть, все будет подавлено и воцарится старое?..

«Нет!.. нет... Что случилось — уже окончательно, потому что оно должно было случиться. Случилось не тогда, когда ожидал, но назад уже не пойдет, не вернется, не может вернуться...»

* * *

Вдали ударил пушечный выстрел.

Арсений вышел на террасу. Раскрыл окно, хотя было холодно. Слышалась пулеметная дробь, совсем новая и ему незнакомая, но он догадался.

Темнело.

Со стеклянной террасы второго этажа видно было зарево.

Опять звонил телефон. Хотя известия были все тревожнее, телефон успокаивал.

Его не забыли еще, он кому-то нужен, кто-то о нем помнит. Его еще не совсем вычеркнули. Еще не все в руках толпы: иначе ему не сообщили бы, ей он не нужен... Он враг ее, потому что она неотъемлемая часть того строя, который она сейчас разрушает.

...«А как война? Неужели всетаки не кончат войну и теперь?.. Будут-ли громить?..»

...«При любом оптимизме никак не найти, что все к лучшему и сейчас... Все рухнуло...»

...«А было ли мне хорошо до сих пор? Хочу ли я пережить снова прожитую жизнь точно так, как я ее прожил?» — подумал он. — «Нет, не хотел бы... понятно, нет. Я все ждал счастья впереди, за миллиона-

ми, но в настоящем была только унизительная борьба. Зависть к тем, кто был выше и имел больше. Боязнь потерять, что уже имеешь. Деньги, деньги... И всетаки у Мамонов этих денег было много больше...»

* * *

Открыл несгораемый шкаф. Драгоценностей было мало — все деловые бумаги, документы. В нижнем отделении лежали его рукописи. Он перебирал их и отделил несколько более ценных, для него ценных. В том числе свою «Автобиографию».

«Это я попрошу не трогать. Это ведь никому не нужно...»

Стал пересматривать фотографии, на столе, на стенах. Некоторые были в дорогих рамках. Он вынул несколько из рамок, а рамки поставил на место. Карточки положил с отделенными рукописями.

«Это попрошу отдать мне...» — опять подумал так, как будто сейчас уже кто-то придет и вступит во владение всем, что еще утром сегодня было его неоспоримой собственностью. Не было сомнения, что так будет, должно быть так...

* * *

Телефон прерывался на несколько часов. Теперь опять работал. Звонили разные лица. Одни с беспокойством, другие — с уверенностью, что все к лучшему, что через неделю будет полный порядок, Россия станет конституционной монархией или федеративной республикой. Война быстро будет выиграна...

Арсений слушал, не возражая. Не спорил.

«Наивные люди. Они полагают, что сменится правительство, и все... А они останутся жить в роскошных квартирах и по-прежнему будут ездить в своих лимузинах и держать по десять прислуг... Нет! Дворцы и лимузины уже не ваши, и если вы не отдадите их сейчас же, грозит опасность вашей жизни. Впрочем, ей все равно грозит опасность...»

Ходил по дому, брал в руки то одну, то другую вещь, и разглядывал подолгу, точно прощаясь.

«Жизнь переломилась пополам. Что в будущем?»

Когда он уезжал путешествовать, каждый раз не хотелось, жалко было расставаться с домашним уютом и спокойствием. Долго колебался всегда прежде чем решиться. Окружающие говорили:

«Вы так любите путешествовать... Вы столько уже изъездили...»

А ему не хотелось ехать. Но когда все уже было решено, уже сидел в вагоне, уже переехал границу — вдруг становилось спокойно и радостно. Ожиданье новых впечатлений, новых мест и людей давало подъем, удовлетворенность...

Точно вроде этого, вдруг явилось настроение. Откуда-то выползло чувство злорадства ко всем выше стоявшим, ко всем больше имевшим, ко всем баловням судьбы...

* *
*

...«Во время французской революции они сопротивлялись, прятали, устраивали баррикады, стреляли... Они не понимали, что такое революция... Или может быть, я славянин, русский, а мы безвольны, пассивны?!.. Нет, это не пассивность от слабости или трусости, — это сознание, что всякое сопротивление бесполезно, гибельно. Были «они» и «мы», и это должно было кончиться. И кончилось».

И он, с такой силой, настойчивостью, с такой самоуверенностью и твердостью, боровшийся всегда за свои права, самые ничтожные даже, даже сомнительные, теперь готов был уступать во всем.

Позвонил Мамону. Тот спокойно ответил:

«Все уладится через три дня, и будет крепкая биржа... Почему у вас эта паника? Наконец, еще надо подождать — кто знает, во что все выльется, может быть ограничится дворцовым переворотом, может быть регентством?.. Почему и республика плоха: разве во Франции нельзя работать на бирже?..»

Ночью стреляли. По небу ходили зарева. Новый хозяин с факелом осматривал свои владенья. Горели тюрьмы, участки. Еще что-то.

Не мог заснуть. Все чудилось, что стучатся в дверь, рядом голоса, выстрелы приближаются...

Лег в кабинете на диване, у самого телефона, чтобы звонить куда-нибудь, если нужна будет защита. «А куда звонить? Где теперь можно найти защиту... От кого защиту?..»

Утром вошли во двор какие-то люди и потребовали автомобиль. Шофер предусмотрительно снял магнето и теперь заявил, что автомобиль испорчен. Люди поругались и ушли. Арсений позвал шофера:

«Зачем вы сняли магнето? Поставьте на место...»

«Да заберут-же автомобиль».

«Все равно, поставьте на место».

Шофер пожал плечами и ушел.

* * *

Мимо окон пронеслись два автомобиля. Глушители были открыты, издали казалось пулеметной стрельбой. В автомобилях сидели солдаты с красными лентами и лоскутками и еще какие-то бородатые люди без формы. Ружья были у всех. Стреляли в воздух. Вид у всех был растерзанный, шинели распахнуты, у одного спущены штаны...

Это показалось Арсению диким, но нашел сразу оправдание:

«Радуются, как малые дети. Радуются по своему, дико. Откуда же им быть иными?.. Может быть это бывшие извозчики?» — подумал почему-то.

Вспомнил, как всего несколько дней тому назад ночной извозчик рассказывал, что он никогда в жизни не спал раздевшись. Спит всегда днем, а ночью ездит... Никогда не был в театре, никогда не учился грамоте. Ест всю жизнь кашу или щи. А в детстве в ученьи хозяин бил по ушам и поэтому он глуховат теперь... С одиннадцати ночи стоял у больших ресторанов, всю

ночь видел, как оттуда выходили сытые и пьяные люди, с веселыми лицами, с «барышнями», и он никогда не мечтал быть на их месте...

«И вдруг ему сказали, что этих господ больше не будет!»

* *
*

Пошел в сад, в гараж. В оранжерейку.

Смотрел на все так, точно кому-то уже продано, не его.

«Сумеет-ли народ воспользоваться своими правами, теми возможностями, какие открылись ему... Ведь он дикий, грубый, темный... Темный!.. а разве мой дед, мой отец, были много выше этой толпы, они разве не были темными?.. Если я ушел так далеко за одно поколение, на какое-же чудесное превращение способен весь народ... Мы — народ-сфинкс, великий народ...»

Но опять что-то старое, привычное, хорошо сваренное закипело внутри:

«Но ведь это все мое!.. Я сам это нажил, сам сделал! Сделал громадной работой в двадцать лет... Каждый мог сделать, но не сделал, не умел... Не так работал, а я сумел, я знал как... Это мое, мое! Кто смеет отнять у меня?..»

* *
*

На парадном позвонили.

Открыла горничная и вскрикнула. Рука просунула в дверь браунинг. Арсений спустился вниз:

«Подождите, я отворю...»

Снял цепочку. Вошло трое солдат.

«Оружие выдайте... Все, что имеете», — сказал грубо один, с красной лентой.

«Пожалуйста... У меня есть два револьвера и коробка патронов, больше ничего».

Повел их наверх, в кабинет, открыл несгораемый шкаф и вынул оттуда револьвер, а другой принес с ночного столика из спальни.

Когда он выходил в спальню, мелькнула мысль, что солдаты могут украсть что-нибудь, но отнесся к этому совершенно спокойно:

«Пусть украдут, что-ж... Как бы не забыть — кажется, у меня ничего нет больше из оружия», — старался вспомнить.

«Больше у меня ничего нет».

«Ничего нет?» — переспросил уже менее грубо солдат.

«Нет ничего».

«Ну, ладно», — и все трое стали спускаться с лестницы.

«Может быть вам еще что-нибудь нужно, кроме оружия?» — вдогонку крикнул им.

Солдаты удивленно обернулись, переглянулись: так с ними не разговаривали ни в одном доме.

«Нет, мы не прочие какие, ничего не берем... вот папироску разве».

Отдал им все, что было в коробке и искал глазами, что можно предложить еще.

«Возьмите сигар».

Те взяли по одной.

* * *

...«Строил двадцать лет по камешку дом. На себе все таскал. Сам все строил, каждый день, своими руками. Каждый камешек был дорог. Каждый был с чем-то связан... И вдруг пришел утром, а на месте дома куча мусора, все разрушено за ночь!.. Нет, это слабая аллегория, совсем не подходит: дом можно снова строить, разобрать по камешку мусор и щепки и начать сначала. Страшная потеря, сколько работы пропало, но всетаки возможно. А тут снова строить нельзя! Самая земля провалилась, на которой стоял дом и теперь его не на чем строить... Это умер кто-то самый дорогой, самый близкий и без него жизнь не может быть больше радостной. Умер!..»

...«Но земля стоит на месте, ничто не изменилось? Только жизнь людей будет иной, для прошлой нет возврата. Что было хорошо и ценно прежде, теперь ничтожно, ненужно, осуждено, даже преступно. Рухнула лестница, по которой лез наверх... Нет, не только лестница рухнула — самого этого верха не стало и он обрушился вместе с лестницей...

* * *

...«Всетаки хорошо, что кое-что успел захватить: успел пережить, увидеть. Успел понять, что многое, казавшееся таким заманчивым, не так уж прекрасно. Многое видел, многого коснулся, чего больше не будет... Что успел, — то успел, а теперь уже поздно... Вот никогда не видал охоты в красных фраках, когда скачут верхом за лисицей со стаей собак. Это самое дорогое удовольствие... Развлечение миллионеров. Надо держать целый год сотню собак, целый штат людей, конюшню, чтобы, один-два раза в году, выехать на такую охоту! Надо иметь заповедное имение с газонами и перелесками. Надо не задуматься помять паханое или засеянное поле, если лисице вздумается туда побежать. Целые поля совсем нельзя засевать, чтобы были газоны. Целый ритуал у этой охоты... Больше этого никогда не будет...»

...«Не будет у нас, но еще останется в Англии. Может быть там можно будет попасть на такую охоту? Едва-ли... Для этого надо иметь связи или быть миллионером, а то и другое для нас рухнуло, провалилось».

...«Почему я думаю о таком пустяке? — Важное дело, парфорсная охота?! Ну, не увижу и только... Дело не в парфорсной охоте. Не в охоте именно — она мне, может быть, и совсем не нужна, а во всей той жизни верхов, во всем том утонченном наслаждении жизнью, которое теперь ушло для нас навсегда...»

В соседнюю комнату вошла Фроська. Он окликнул ее.

«Фрося, принеси мне бутылку шампанского, только тайком, чтобы никто не видал».

* * *

...Не было желания говорить с кем-нибудь.

...«Каждому только до себя самого в такой момент. Сейчас создаются новые карьеры. По трупам друзей лезут вверх. За меня только порадуются — ведь мне многие завидовали...»

...«Женщины?! Они все чужие сейчас... Ведь я не могу больше дать им денег, и даже не могу утешить их, что все обойдется... Именно не обойдется. Идут новые люди, и у них нужно искать защиты и помощи, а у не у таких, как я...»

«Глаша?! Может быть единственная, действительно любимая, и ее нет. Она уехала, потеряна... Потеряна потому, что я не слишком настаивал, чтобы осталась. Любимая, но не нужная для карьеры. Могла помешать делать деньги и лезть выше по лестнице! Лестница рухнула и я один. Один...»

* * *

Зазвонил телефон.

Войтинская.

«Арсений, ты?! Кащеев очень растерян. Меня это страшно беспокоит... Он не верит, что все обойдется... Ведь это-же глупо... И ты не веришь?!.. Но что-же делать?»

«Уезжай сейчас заграницу, если возможно».

«Я не могу бросить человека, который для меня столько сделал... Да чего вы переполошились?!.. Все обойдется, напрасные страхи».

«Нет, Манечка, не обойдется... Случилось громадное. Надо принять революцию или бежать. Это только начало».

«Что значит принять революцию?..»

«Значит — отдать сейчас-же свой автомобиль, бриллианты, деньги, отпустить четырех слуг».

«Ты съума сошел!?»

«Может быть... Но я так думаю. Я не хочу тебе лгать...»

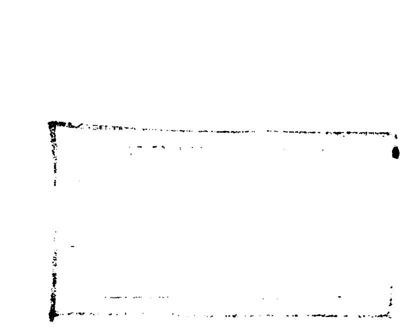
«Я не узнаю тебя, Арсений. Ты-ли это?!.. Никому я ничего не отдам, и тебе не советую... Как я ошиблась! Я думала, ты скажешь, что сейчас мутная вода и в ней надо ловить рыбу, как ты всегда говорил... А ты точно хоронишь себя...»

«Пойми меня, Манечка, я не себя хороню, но умер наш Бог... Умерли старые истины, сгнили, развалились, тонут... горят — беги от них, иначе погибнешь. Начинается новая жизнь».

«Ты сумасшедший!»

Арсений повесил трубку.

Конец второго тома.



ОГЛАВЛЕНИЕ

I. «В центре жизни» 5
II. Принятие в орден 10
III. «Мэри Николаевна» 21
IV. Глаша 28
V. У Грабельщикова 38
VI. Концессия 55
VII. Кащеевский цех 67
VIII. Война делает деньги 79
IX. Среди великих 95
X. Один из владык биржи 112
XI. Случайности 122
XII. Бенефис кордебалета 135
XIII. В редакции «Вечерней Газеты» 150
XIV. Комбинации 161
XV. Другая Глаша 168
XVI. Деловой день 176
XVII. «Шампань-танго» 189
XVIII. «Сексуальность правит миром» 201
XIX. Биржа 206
XX. Конец есть начало 219

Printed in Germany

W. Krymoff Schön lebte man in Petersburg!